N

W E

ЮЖНЫЙ КАВКАЗ

а л ь м а н а х 2

ЮЖНЫЙ КАВКАЗ

альманах

2

2012

Альманах издается в рамках проекта «Медиация на Южном Кавказе» британской неправительственной организации International Alert при финансовой поддержке UK Conflict Pool и Европейского Союза.

International Alert, UK Conflict Pool и Европейский Союз не несут ответственности за содержание публикаций альманаха.

Редакторы
Батал Кобахия (Сухум)
Гурам Одиашария (Тбилиси)

Литературный редактор
Надежда Венедиктова (Сухум)

Редакционная коллегия
Арег Баяндур (Ереван)
Эльчин Гусейнбейли (Баку)
Джана Джавахишвили (Тбилиси)
Жанна Крикорова (Степанакерт)
Даур Начкебиа (Сухум)
Джульетт Скофилд (Лондон)
Лариса Сотиева (Лондон)
Марина Чибирова (Цхинвал)

Дизайн, верстка ... Архип Sipa Лабахуа (Сухум)

Предлагаем вашему вниманию второй номер литературно-публицистического альманаха писателей Южного Кавказа. Альманах постепенно увеличивает круг своих читателей не только в регионах Кавказа, но уже и далеко за его пределами. Не претендуя на полное освещение литературного процесса на Кавказе, мы надеемся, что наше издание дает некое представление о том, что происходит сегодня в наших национальных литературах. В этом номере представлены и работы фотохудожников из всех регионов Южного Кавказа.

Между изданием первого и второго номеров альманаха произошло трагическое событие, которое потрясло весь Кавказа. 19 ноября 2011 года было совершено покушение на известного азербайджанского прозаика и публициста Рафик Таги. Поздно вечером на бакинской улице неизвестные люди нанесли ему множество ножевых ранений, и через несколько дней он скончался в больнице.

Врач по образованию, Рафик Таги много лет проработал терапевтом, кардиологом, параллельно занимаясь литературным творчеством и публицистикой. Многие статьи его вызывали большой общественный резонанс. Его статья «Европа и мы», где он размышлял на религиозные темы, вызвала резкое возмущение среди ортодоксальных мусульман. Власти Азербайджана арестовали Рафика Таги. Он был осужден на три года, однако по требованию общественности через 8 месяцев заключения был помилован решением президента страны.

Тогда его официальное осуждение многие называли необходимой мерой, которая спасла его от религиозного самосуда. «Рафик Таги не был врагом Азербайджана. Просто он думал иначе, чем мы, и, в отличие от нас, говорил и писал то, что думал», – сказал о нем известный юрист, глава Общества правового просвещения Интигам Алиев. Последняя статья Таги «Иран и неизбежность глобализации» также вызвала бурный резонанс, который, возможно, и послужил причиной последнего нападения на писателя.

Мы гордимся тем, что его рассказы были опубликованы как в нашей книге рассказов писателей Южного Кавказа «Время жить» , так и в первом номере альманаха, который вышел спустя 10 лет. В обоих изданиях рассказы Рафика Таги были теми сокровенными крупицами духовности, которые привлекали внимание многих читателей из всех регионов Кавказа и далеко за его пределами. Мы благодарны ему за то, что он дал нам возможность опубликовать свои рассказы в наших изданиях. Мы рассчитывали на дальнейшее сотрудничество и встречи с необычайно интересным человеком, публицистом и писателем, но жизнь внесла свои трагические коррективы.

Редакционный совет приносит искренние соболезнования семье, близким Рафика Таги, народу Азербайджана и всем тем, кто высоко ценил творчество Таги. Мы надеемся, что у властей Азербайджана хватит воли провести детальное расследование убийства выдающегося писателя и публициста, не умевшего молчать в трудное для своего народа время.

Содержание

Гулу Агсес. В песчинке каждой… Стихи 8
Геннадий Аламиа. Другое Я восходит над землею. Стихи. 16
Гюнель Анаргызы. Кактус. Рассказ 24
Шалва Бакурадзе. Уолт Уитмен против Джорджа Буша. Стихи 35
Эля Джикирба. Смерть мертвого. Патрахуца. Рассказы.....54
Нина Джусоева. Мешочек муки. Рассказ 69
Коста Дзугаев. Ба-алшой мисл. Отрывок из романа 80
Ованес Еранян. Обманчивый день. Рассказ.....88
Роберт Есаян. Час, который превыше судьбы. Стихи.....96
Фатима Заде. Я хотела бы жить долго, лет до ста. Стихи.....102
Батал Кобахия. Самсон и Бабуца, или история одной женитьбы.....110
Вагид Мамедли. Возвращение Будды. Рассказ.....128
Гамлет Мартиросян. Нирвана. Элегия для трубы. Рассказы.....145
Тинатин Мжаванадзе. Благословенные жулики. Рассказы.....170
Серго Миндиашвили. Старик-осетин меня наставлял. Стихи.....183
Лана Парастаева. Заблудившаяся душа. Рассказы.....189
Семен Пегов. Я открою тебе внутренний мой озноб. Стихи.....193
Дато Турашвили. Мой ирландский дед. Рассказы.....201
Гурген Ханджян. Страж полуразвалившегося дома. Рассказы.....213

Культурное пространство

Рахман Бадалов. Баку: страна и город.....239
Наира Гелашвили. Реквием «Городу в балконах».....264

Фотомастера

Давид Гобозов.....42
Аревик Даниелян.....48
Адгур Дзидзария.....63
Юрий Мечитов.....277
Ширмамед Назарли.....265
Завен Хачикян.....232

Тулу Агсес

Родился в 1969 году в Агдаме. Президентский стипендиат. Автор сборника стихов «В песчинке каждой…», «Т.о.ч.к.и.» (на русском языке), новеллы «Набрань», «Ветряная почта» (на украинском языке). Переводился на многие языки. Заместитель главного редактора литературно-художественного журнала «Улдуз».
Живет в Баку.

Точки

Из цикла «Знаки п/трепинания»

Имя что не сходит с уст
.т.о.ч.к.и.
Вызывают костный хруст
.т.о.ч.к.и.
Ударяют в глаз и в бровь
.т.о.ч.к.и.
Заползают в мою кровь
.т.о.ч.к.и.
Надвигаются как бред
.т.о.ч.к.и.
Не вопрос и не ответ
.т.о.ч.к.и.
Есть перо, письмо и есть
.т.о.ч.к.и.
В небе правит Бог, а здесь
.т.о.ч.к.и.

Ночь

Устал и присел
на краешке листа.
Сердце воет волчьим воем,
воем волчьим…
не могу сказать «баста».
Стог стихов
собрал на зиму,
Строки, строфы вереницей.
Пусть взойдет на небе солнце…
Чтобы ночь
спугнуть, как птицу…
Думаю:
Жить!
– Проще только умирать!
Жить!
– Прошлое вперед толкать!
Но…
Пусть в смертный час
Развеется предо мной всё мнимое.
Пусть смерть позовет тихо-тихо,
Чтоб не проснулась любимая…

Вопросительный знак

Из цикла «Знаки п/трепинания»

Кто это в миноре
Вопросительный знак
Носит горы горя
Вопросительный знак
Слов не надо лишних
Вопросительный знак
Потерявший ближних
Вопросительный знак
Раз и закипает –
Вопросительный знак
Точка вверх взмывает –
Вопросительный знак
Нет, не серп, не остров –
Вопросительный знак
Божье имя, просто:
Вопросительный знак

Ты

старательно избегаешь колючек,
опасаясь попасть в беду!
Я
прохожу между жизнью и смертью,
хотя по пустой дороге иду!

Ты
нюхаешь календарь, как водку.
Выискиваешь поводы,
чтобы растекаться мыслью по древу.
Я
ищу во времени правое слово,
чтоб перо не свернуло налево…

Ты
купил себе место в раю.
Ангелы ожидают тебя
и не зададут вопросов.
Я
уподобляю кладбища
мусорным бакам земли
при виде человечьих отбросов…

Я и она

Я
Не смог обрадовать ее объятья.
Она
Не сделала меня отцом.
Бог увидел,
Что мы смиренны,
И не стал даровать боли кольцо.

Я
Полюбил ее всем сердцем,
Она
Меня всей душой.
На границу между нами
Мы бросаем петарды порой.

Я
Могу бросить ее, уйти,
Не ахти моя натура, знает.
Спрашиваю у нее:
– А ты?
Слезами мои
Очки омывает.

В песчинке каждой…

Сколько мне осталось жить
дней, часов, скажи, о Боже?
От тебя уже давно
нет вестей, посылок тоже!
Кто отрезал путь к тебе –
путь, что тонок словно волос, –
Мне к каким чертям пойти,
раздается где твой голос?..
И когда ж пущусь я вскачь,
оседлав гнедого смерти? –
Лечит он, но я взлечу,
не достав небесной тверди.
Полечу, мои грехи
полетят в меня, как камни,
Может, все же рассказать
об ошибках, что я помню? –
Помнишь? – Полюбил одну,
да, она тебе знакома –
Я не взял ее себе,
но и не отдал другому.
Всё смотрела вдаль она,
как за журавлем синица;
Выжги мне глаза, потом
вознеси своей десницей.
Столько раз ты посылал
слово – пребывал я в лени,
Сердце светом озарил,
но глупец держался тени.
Пил вино – не без вины –
не тебя ведь звал, а музу,
Созданный тобою мир
приходился не по вкусу.
Нет, не тронули меня
все твои богатства, слышишь?
Проклинал свою судьбу,
мне дарованную свыше…
…Твоя милость все мои
прегрешенья покрывает,

Грудь мою уже давно
от мольбы так распирает:
Место для раскаянья
дай мне, Господи, ведь стражду,
Чтобы там я лишь тебя
лицезрел в песчинке каждой!..
Чем прикажешь, все грехи
начисто свои там смою,
Если хватит сил, меня
там насыть сполна собою…

Перевод с азербайджанского Ниджата Мамедова

Геннадий Аламиа

Известный абхазский поэт и публицист. Автор нескольких поэтических книг. Редактор журнала «Абаза».
Живет в Сухуме.

Зеркала

Заставлен
зеркалами
взгляд.
Куда идти?
Стоишь в опаске.
И вместо лиц
Сплошные маски
Ухмылкой душу
леденят.

Где выход здесь?
Где тут окно?
Как безысходно все,
Бессвязно.
«Иди сюда!» –
Но не дано
Понять,
Где менее опасно.

Вот он,
Чей голос
Слышал ты.
Идет
из зеркала
навстречу,
И ты спасения предтечи
В нем видишь
светлые черты.

Но он суров,
Безмолвен он,
И на устах его
Сомненье:
Помочь тебе
Иль дать,
Чтоб сон
Ужасный
Получил продленье.

Друг другу
Тянете вы руку,
Вы так близки…
И далеки,
Чтоб сквозь
Зеркальную разлуку
Вовек не дотянуть руки.

…Затея
вроде бы
ясна,
и пусть твердят,
что хохот – лечит,
вы не смеетесь.
Не смешна
Бесчеловечность
Вашей встречи.

Перевод с абхазского Дениса Чачхалиа

Я засыпаю. Исчезаю я.
И в этой душной тьме небытия
Другое Я восходит над землею.
Другой уходит птицей в синеву…
И черным камнем падает в траву
Не я – другой…
И это не за мною,
А за другим погоня.
Он бежит.
Вот он уже
Почти прорвал заслоны.
Но степь становится
Вдруг каменистым склоном,
И тот, другой,
Затравленный лежит.

Все это происходит не со мною –
В его руках цветок шипит змеею.
Я только сплю. Я – часть небытия,
Страдает тот, другой, совсем не я.
Он одинок. Он, а совсем не я.
Мольба о помощи его,
А не моя.

Но с пробуждением моим
Спасется он,
Чьей долгой жизнью
Был мой краткий сон.
Ушел.
Но жизнь его – добро и зло –
Мне от него
В наследство перешло.

Перевод с абхазского Александра Антоновича

Человека следы
Глубоки,
словно горе.
Снег растает весной,
И растают следы…
Рядом с ними бежит,
С одиночеством споря,
Волчий след,
Как неслышное
Эхо судьбы.

Может быть, человека
Преследуют волки,
Может, волка
стремится
Догнать человек?
Тайна скрыта в снегу,
Леденящем и колком,
И об этом никто
Не узнает вовек.

Перевод с абхазского Николая Цветоватого

Издалека
Шла в город темнота.
Спускаясь с гор,
Уже брала районы.
И город быстро
Зажигал огни,
Панически
Включая лампионы.

Держалось небо
На столбах из света.
Под этим сводом
Город неспокоен.
Дороги здесь
Сшибались,
Разлетались,
Задумывались,
Проносились с воем.

Одни, сойдясь,
Уже лились широко,
И путник, словно
Одолев стремнину,
Вновь попадал
В сплетенную из улиц
Коварную и злую
Паутину.

Перевод с абхазского Дениса Чачхалиа

Псху

Бзыбь с корнями несет
Сквозь глухие
Ущелья и веси
Ствол могучий,
который
С рекой уплывать
Не хотел.
И дымки очагов
Не к добру
Над домами исчезли:
Вереницы людей
Покидают родимый предел.

Растеряли богов,
И игрушкою
Стала святыня.
Пепелищем сырым
Стал
гудевший от жара очаг,
И у всех на устах –
Милой родины
Горькое имя.
И у всех на челе –
Отлученья от родины
Знак.

Слышно ржнье
И вой
С опустевших холмов
И нагорий,
Провожают гонимых
До дымных
Морских берегов.
И лежит перед всеми
Воистину черное
море,

Как бескрайний погост,
Без надгробий,
Без плит,
Без крестов.

И стою я у Бзыби,
И вижу –
Уходят, уходят,
Отодрав от земли
Все,
чем связаны
Были они.
И несут на руках
Малышей,
Но на них и смотрят.
Ну, а смотрят куда –
Там лишь волны,
И волны одни.

И стою я у Бзыби,
Пришедший в пустую обитель,
Поднимаю земли
Не узнавшей руки моей
Горсть.
Как вернувшийся сын
В дом,
Который
Покинул родитель,
Где сегодня уже
Я, быть может,
Непрошенный гость.

Я стою среди гор,
Никогда у которых
Я не жил.
Как мне холодно здесь,
Кто б сиротство
Мое отогрел.
Все мне виджится дым
Очагов,
Не при мне догоревших…
Вереницы людей
Покидают родимый предел.

Перевод с абхазского Дениса Чачхалиа

Гюнель Анаргызы

Автор семи книг, главный редактор журналов «Окно» Министерства культуры и туризма Азербайджанской Республики, «Моя страна» Государственного комитета по делам диаспоры АР и «Азеримобайл», ведущая телекоммуникационной компании «Азерселл», автор популярной на азербайджанском телевидении передачи «Окно». Ее проза переведена на русский, грузинский, украинский, турецкий языки.
Обладатель премий «Хумай», «Писатель нового поколения» и др.
Живет в Баку.

Кактус

Сколько себя помню, всегда на подоконнике стоял этот кактус. И всегда был именно таким, не больше, не меньше. Как будто время его не коснулось. Все-таки живое существо, растение. Должно же оно как-то развиваться, в глубину, в длину, в ширину, в конце концов. А то ни туда, ни сюда, как будто впало в летаргический сон и позабыло все правила развития и эволюции живых организмов.

А интересно, у кактусов, вообще, бывают летаргические сны? Наверное, в какой-нибудь другой форме. Отключилось существо из реальности и позабыло, что оно живое. Конечно, если б Дудик не поливал его каждый месяц аккуратно по часам, неизвестно, что бы с ним стало. Не с Дудиком, конечно, а с кактусом. Захирел бы, наверное. Хотя, кто его знает, может совсем наоборот, расцвел бы каким-нибудь цветком, например, агрессивно оранжевого цвета. Почему оранжевого? А кто его знает. Мне почему-то кажется, что именно кактус Дудика должен зацвести оранжевым цветом. Опять я фантазирую. Во всяком случае, бабушка бы точно так сказала. Но бабушки нет, и я не могу поделиться с ней своими мыслями на этот счет. Хотя, что это за фантазии по сравнению с тем, что я умею! Да если б мне чуточку усидчивости и терпения, чтобы привести в порядок мысли, я бы столько всего нафантазировала и записала. На бумагу. Ну, или в компьютер. Но у меня нет охоты даже научиться бегло набирать. Чтобы бегло набирать, надо просидеть за этим занятием хотя бы пару дней, а мне даже пары часов жалко. Не то чтобы жалко, неохота. Ну, что я буду, в самом деле, сидеть и выбивать какие-то буквы, которые еще не известно к чему приведут. Вообще, терпеть не могу заниматься тем, что не имеет определенной цели. Типа, того, что поделюсь с человечеством своими мыслями, и сразу станет легче. Не человечеству, конечно, а мне. А вдруг не станет? А вдруг станет еще хуже оттого, что я обнаружу в своих мыслях какую-нибудь совсем ненужную мне истину и пойму, что все не так, все совсем не так, как должно быть, как я хочу, чтоб было, как надеюсь, что будет. И живу я неправильно, и мыслю не так, и вообще все мои истины и правды ложны и никому не нужны. Но, возможно, я перебарщиваю. Прожила же я со своими истинами и принципами, не мешая людям, двадцать восемь лет. Но, с другой стороны, у меня и цели не было кому-то мешать. И потом, по сути, кому какое до меня дело? И до моих принципов? И до моих истин? Ведь если я никому не пере-

хожу дорогу, не лезу с советами и наставлениями, не утомляю жизнь, я имею право требовать того же отношения к себе. Как минимум, той же лояльности, ну, или на худой конец, безразличия, ведь так? По-моему, так. Но на самом деле, может быть иначе. Хотя… Почему-то я уверена в том, что права. И поэтому, я знаю, что все у меня будет хорошо. По общемировым и общечеловеческим законам. Даже если жизнь, словно ей со мной неинтересно, убегает от меня. Даже если я еще не добилась ничего стоящего: денег нет, красоты тоже, замуж не вышла, работать не работаю, особенных целей в жизни не имею, как-то мне все фиолетово, что лето, что зима… Вот и лежу, уставившись на кактус, такой же безразличный и равнодушный ко всему и вся, до тупости гордый в своем одиночестве. Можно, конечно, в отличие от кактуса выйти на улицу, принарядиться, сделать вид, что все замечательно, а самой смотреть на окружающий мир и тоскливо сокрушаться, что ничего в нем нет такого, что могло бы меня растормошить. Так чем я лучше кактуса?

Хорошее утро сегодня. Солнечное и ясное. Чувствуется в нем какая-то отчаянная весенняя нота, хотя на дворе стоит уверенная и непоколебимая в своей глубине осень. Какое сегодня ноября? Двадцать пятое или восьмое? Чем забить мне еще один день этой муторной осени? Одиночеством в одиночестве или одиночеством в толпе? Ничего себе сказала. Банально и слишком претенциозно, как любил говаривать один мой старинный друг, тот самый, что предлагал выйти за него замуж. С претензией на исключительность. Ах, если бы… Но не тот случай. Лучше, пока я еще думаю о несветящей мне исключительности, сделать какие-то движения в сторону кухни, а там чем черт не шутит, может, и найду цель своего сегодняшнего появления в свете дня… Блин, выраженьица, полный отстой, выразился бы Дудик. И был бы прав. Никудышная из меня фантазерша! Ограниченная сотнями прочитанных книг. Имеющая на все такую заумную точку зрения, что у самой порой ум за разум заходит. Надо наполнить чайник и поставить его на газ. Стоит ли? Легче ведь не греть воду, а выпить ее холодной вприкуску с медом, как это делает балерина Волочкова. Но та Волочкова. Красивая как статуя, ухоженная, как роза в парнике, и обласканная успехом в лице мужа-миллионера. Я не балерина и даже танцевать толком не умею. И что делать? Не пить воду с медом? Глупости… Возьму и выпью. А чайник не поставлю на газ. Из принципа. Из духа противоречия. Назло Волочковой.

Из окна все тот же вид. Только дерево во дворе совсем оголилось. Вспомнила вдруг свой сегодняшний сон. Такой жуткий и правдоподобный одновременно. Как будто на Молоканке вырубили все деревья,

и весь сад сравняли с землей. Ресторан, чайхану, скамейки, дорожки. Остался только ров вместо бассейна и разбросанные по громадному пустырю статуи с возведенными к небу руками. И Дудик посередине с опущенными от безысходности плечами. Да, и еще почему-то вид на совершенно бесцветное море. Причем тут море, в самом деле? Из Молоканки нет вида на море, там кругом дома. И все равно жутко. Жутко оттого, что весь мой сон до мурашек по коже правдоподобен.

А что если действительно за ночь вырубили всю Молоканку? Ведь вырубили же за считанные часы половину деревьев напротив Монолита. Что стоит им вырубить какой-то сквер? Надо срочно туда сходить. Пойти и проверить, все ли на месте. А если нет? А если там вместо сквера голый пустырь?

Бегу в комнату. Сбрасываю майку Дудика, натягиваю джинсы, свитер, носки, потом влезаю в кроссовки и, прихватив куртку, вылетаю на лестничную площадку. Не умывшись, не причесавшись, не позавтракав… Благо до Молоканки пять минуты ходьбы. Живу я рядом, почти за углом. Надо просто обогнуть два дома.

Молоканка - сад нашего детства. В былые времена каждое утро, а в хорошую погоду и по вечерам бабушка водила нас туда гулять. Тогда, естественно, не было такого кошмарного количества машин, и проезжая часть вокруг сада была пуста и тиха, особенно в утренние часы. Дороги казались намного шире и просторнее. Конечно, в детстве все кажется величественным и внушительным - дома, деревья, люди. И простора больше, и воздух чище и слаще. Помню, над Молоканкой всегда витал какой-то странный, словно сказочный туман. Даже не туман, а скорее белесая дымка. Она клубилась в кронах деревьев, просачиваясь сквозь листья и ветки, осторожно опускалась на плечи дремлющих по углам скамеек старушек, постепенно растворяясь в их аккуратно уложенных по краям, скошенных на бок беретов седых буклях, смешивалась с умиротворенным безмолвием утра. Но это таинственное действо продолжалось совсем недолго, буквально считанные минуты. Много позже, в последних классах школы, когда я читала японские трехстишья, в голове моей словно оживал участок ассоциативных воспоминаний, и в эти минуты я словно кожей чувствовала тоску японца Басе, который сидя у пруда, наблюдал за кругами воды, растворявшимися в тугой и вязкой тишине…

Потом вдруг тишина неожиданно веселела. Она словно пропитывалась звенящей и искристой мелодией набирающего силу нового дня. Дымка незаметно рассеивалась, словно и вовсе не было ее, а из черных оконцев высокого деревянного цилиндра голубятни вдруг

выпархивало несчетное количество голубей: белых, черных, серых, а под конец парочка нежно-розовых. Они с шумом опускались на садовые дорожки и парапет, разгуливали, подозрительно косясь по сторонам, испугавшись какой-то ерунды, подняв сноп пыли вперемешку с сухими листочками, окурками папирос, семечками и прочей дрянью, вспархивали, чтобы через пару секунд, спланировав на землю, как ни в чем ни бывало, отправиться на поиски съестного, при этом деловито поддакивая неизвестно чему кругленькими блестящими головками.

Вот и Молоканка. Слава богу, цела, невредима и даже вполне весела. Ну, говорю же, что я фантазерша, что с меня взять! Ресторан и чайхана почти пусты, но через пару часов будут набиты до отказа. На скамейках уже сидят ранние посетители – завсегдатаи сада. Это кособокие бабульки с еле передвигающими свои ножки карапузами, какие-то неприкаянные старички, то ли продавцы всякого барахла, то ли алкоголики, переживающие тяжкий период похмелья. Я сажусь на одну из скамеек, запахиваюсь в куртку и, уткнувшись в воротник, начинаю вяло наблюдать за происходящим вокруг. Вот, идет парочка. Сразу видно, влюбленные. Держатся за руки... У него знакомый силуэт. Неужто? Дудик! Чувствую, как в ушах и щеках начинает шумно стучать. Такое впечатление, что сердце, расколовшись на миллион осколков, выскочит из ушей, ноздрей и всех остальных отверстий и пор моего тела. Почему я такая трусиха? Ну, Дудик так Дудик, ну, с девушкой, так девушкой!

Стараюсь максимально врасти в слишком куцый для моей головы воротник куртки. Если он заметит меня и поймет, что я тоже заметила, смутится, конечно. А так, может, и пройдет, не посмотрев или сделав вид, что не посмотрел в мою сторону. Другое дело, если я поднимусь, тогда ему уж точно некуда будет деть глаза и придется покорно здороваться. Сижу, притаившись, только вот сердце-предатель продолжает меня выдавать. Проходят мимо. Скосив глаза, смотрю на их ноги. Дудик в тех же штанах, что и всегда, а туфли на нем какие-то непонятные. Во всяком случае, я их еще не видела. На девице сапоги темно-бордового цвета (фу!) и заправленные в них джинсы. Ужас… Страсть как хочется посмотреть ей в лицо и понять, что это за птица такая околачивается возле Дудика, но нельзя. Он смутится, покраснеет до корней волос, стушуется, начнет нести чепуху, а потом скажет, что я во всем виновата. В общем, как всегда…

Мы с Дудиком близнецы. Почти. С разницей в два года. Я его старше, но это не имеет никакого значения. Мы плоть и кровь друг от друга. Так близки, наверное, могут быть только близнецы или же... Но

я всячески отгоняю от себя эту мысль, потому что мы брат и сестра. Родители у нас одни, и выросли мы вместе. Просто родители расстались, когда мы были совсем маленькие. Папа страшно ревновал маму, все время следил за ней, подозревал во всех смертных грехах, проверял и перепроверял каждый шаг и часто устраивал скандалы по пустякам, что неудивительно, ведь мама была необыкновенно красивой, походила на Монику Белуччи и даже могла дать той фору. Плюс мама казалась удивительно чувственной, это читалось в ее глазах, движениях, манере говорить и смеяться и, наверное, поэтому она старалась выглядеть суше, чем есть на самом деле, порой замыкалась в своем особом, недоступном посторонним мире, терпела все папины выходки, на людях делала вид, что вполне довольна и счастлива, а по ночам, уткнувшись в плечо безмятежно сопящего Дудика, душилась в плаче. Дудика она обожала. Видимо, потому что он был похож на нее. Ко мне же относилась сдержанно. Наверное, потому что я была точной копией отца. Как будто Дудик был родным ребенком, а я чем-то вроде подкидыша. Эта мысль отравляла мне детство, и я страшно переживала, думая, что меня сдадут в детдом. Я восхищалась мамой, мечтала стать похожей на нее, вечно лебезила перед ней и делала все, чтобы ей понравиться. В результате получалось обратное, и в один прекрасный день я обнаружила, что ненавижу собственную мать. Спустя годы горькая обида на маму словно растворилась в сознании, спутавшись со множеством незначительных и, как оказалось впоследствии, необоснованных претензий ко всем остальным. Только став достаточно взрослой, я поняла, как ошибалась, и именно я, а никто другой, была самой настоящей маминой дочкой…

Однажды мамы не стало. Когда мы проснулись рано утром, нам сказали, что ее нет. Сделано это было довольно топорно, даже с точки зрения наивных детей. Нас известили, что мама здесь больше не живет, она заболела, поехала лечиться в другой город, приедет нескоро, и нам лучше о ней пока не думать. Потом, не спрашивая, нас с Дудиком отправили к бабушке - папиной маме, и отныне все заботы по нашему воспитанию взяла на себя она.

Папа впоследствии женился на другой женщине, как выяснилось, той, с которой довольно долго сожительствовал и даже завел ребенка. Его другая дочка была младше меня и старше Дудика. То есть папаша наш не промахнулся ни там, ни тут. Знала ли об этом мама, трудно судить. Может, знала и терпела. А может, узнала и не пожелала больше терпеть. Но в то, что она покинула нас сознательно, нам с Дудиком не хотелось верить ни тогда, ни сейчас. Я думаю, что между

родителями нашими произошло что-то настолько ужасное, что маме ничего более не оставалось, как покинуть нас во имя нашего же дальнейшего благополучия и спокойствия.

Потом потекла обычная жизнь. Бабушку мы любили. Она была наивной, доброй, страшно рассеянной и забывчивой. Даже странно, что у такой женщины получился такой сын, как наш папа. Скорее всего, он пошел генами в своего отца, которого мы, к счастью, не узнали. Говорят, редким был подонком, единственное утешение, что хотя бы умер рано. Над бабушкой мы с Дудиком часто подшучивали, порой это выглядело довольно жестоко. Но она не обижалась. Что были для нее невинные детские шалости по сравнению с тем, что ей пришлось пережить от покойного мужа-монстра?

Папа навещал нас редко, но регулярно звонил и посылал нам продукты. Он знал, что мы живы и здоровы, мы знали, что он где-то есть и можно обратиться к нему в моменты крайней необходимости. Таких моментов, к всеобщему удовольствию, бывало немного, поэтому мы виделись с папой только по праздникам или дням рождениям, оставались довольны недолгими вылазками в магазины и рестораны, а еще больше тем, что вылазки эти бывали не утомительными и продуктивными. Сказать, что мы чувствовали нехватку родителей, было нельзя, но ощущение определенной неполноценности в нас все же присутствовало. Все-таки мы ощущали недостаток отцовской заботы и материнского внимания. Хотя, грех жаловаться, ведь, нам с Дудиком везло с окружением. Родственники у нас были доброжелательными и сердобольными, все время нас жалели, чем мы с братом очень даже неплохо пользовались. Глядишь, кто подкинет денег на мелкие расходы, кто купит «страшно нужные» камеру для велосипеда или модные кружевные лосины. В общем, жили не тужили, пока на нас не обрушилось неожиданное несчастье: бабушку хватил инсульт. Как, почему, за что? Она была еще совсем молодой, каких-то семьдесят два года. Но коварный рок не выбирал объект для стечения обстоятельств и они, в буквальном смысле, стеклись на ни о чем не подозревающую, настрадавшуюся голову нашей бабушки. Промучилась она недолго. Без малого месяц. Затем последовали похороны, поминки, слезы, утешения. Я в то время уже училась на втором курсе университета. Дудик заканчивал школу.

Переезжать к папе мы напрочь отказались. Там была другая жизнь со своими сковородками и взглядами на окружающий мир. Папа особенно не настаивал, видимо, понимая, что однажды мы сможем согласиться и попробовать пожить в кругу его семьи, что, ясно как

божий день, было чревато. Так зачем в таком случае грузиться, тогда как можно благородно согласиться с выбором уже взрослых и в тот или иной период будущей жизни могущими быть полезными детей? Короче, по обоюдному согласию мы остались жить в квартире покойной бабушки. Папа нас так же исправно содержал, все были вполне довольны и спокойны.

Теперь уже с высоты своих двадцати восьми лет, вспоминая тот период нашей жизни, я понимаю, что допустила много серьезных ошибок в отношениях с Дудиком. Ведь ко времени кончины бабушки я была уже довольно зрелым человеком. Я и так повзрослела очень рано и всегда рассуждала на удивление трезво. Поэтому мне всегда приписывали возраст гораздо больший, чем в действительности. Мне это льстило. В двадцать приятно думать, что тебя принимают за двадцатитрехлетнюю. Ведь какая, по сути, разница между двадцатилетними и двадцатитрехлетними? В собственном представлении, я была Дудику и старшей сестрой, и мамой, и… Конечно, меня и теперь никто не поймет. Ведь признаться в этом, означает сознательно обречь себя на пожизненное осуждение, непонимание и участь прокаженной. Но, честно говоря, меня это волнует так же мало, как теплый ветерок теперь волнует поверхность воды в пруду на Молоканке. Я уже прошла ту стадию неуверенности в своей правоте, когда для человека является основополагающим то, что скажут окружающие на тот или иной, не вмещающийся в рамки общепринятых понятий поступок. Мне уже все это глубоко пофиг, как говорит Дудик.

Дудик! Самый родной и близкий человек на земле. Единственный человек, которого я любила, люблю и буду любить самой необыкновенной, чистой, самой самозабвенной и самой безответной и безнадежной любовью!

В том, что происходит, нет никакой его вины. Это все я. Я отравила жизнь нам обоим. Я сделала ее невыносимой. И Дудик ушел из дома. Вынужден был уйти. Потому что не смог больше терпеть. Не умел терпеть. Потому что испугался. Я знаю. Я в этом уверенна. Дудик понял, что в один прекрасный день он может не выдержать… Бог мой! И тогда мы бы стали самой счастливой и одновременно несчастной семьей на свете, потому что роднее и ближе нет и не будет никого в этом мире. Но он испугался. И я его понимаю. Он еще не дорос, он еще маленький, ему еще невдомек, что все эти бордовые сапоги и заправленные в них джинсы иллюзия, самообман, подмена истинных и потому никогда не умирающих чувств. Эта девица, так же как и все остальные, с которыми он когда-либо встречался, не выдержит испытания любо-

вью и сдастся, даже не попытавшись разобраться, что в нашей к жизни к чему…

Идя и почти дыша им в затылок, я даже не пытаюсь спрятаться. Но они не замечают меня, потому что поглощены друг другом, что-то обсуждают, смеются, держатся за руки. Заходят в кафе, он помогает ей снять куртку, пододвигает стул, потом садится сам. Я опять не могу разобрать ее лица, не потому, что она садится ко мне спиной, а потому что мне уже неинтересно, что она из себя представляет. Я прекрасно понимаю, что она отныне не имеет никакого значения не только для меня, но и для Дудика. Просто он пока этого не знает. Но до того как он это поймет, осталось совсем немного времени. Вот сейчас, сию минуту он увидит меня, глаза наши встретятся, и он уже не сможет смотреть на нее, так как смотрит сейчас. Я поднимаюсь и медленно двигаюсь к их столу. Дудик смотрит на нее глазами, полными добра, тепла и заботы. Как он в нее влюблен! Эх, Дудик… И тут он видит меня. Вот и все… Растерянность, испуг- на нашу мать.

-Ты? Здесь?

-Доброе утро, Дудик! Как дела? Знаешь, я по тебе скучала… Чувствую вопросительный взгляд ничего не понимающей девушки. Я, конечно, ее не вижу, но знаю, что на лице ее застыла растерянная улыбка. Ее просто не может не быть. Она всегда появляется в такие моменты на лицах всех девушек Дудика.

-Но ты же уехала? Мы простились с тобой месяц назад, и ты сказала, что больше не вернешься…

-Ты ошибся. Я вернулась.

-Но…

-Дудик, я скучала по тебе…

В разговор бесцеремонно встревает джинсово-бордовая:

-Кто это, Давуд?

Он, покраснев до корней волос, тихо отвечает:

-Моя сестра.

«Бордовая» удивленно поднимает брови и рассматривает меня. Курица. Что с нее взять?

-Дудик, мне нужно с тобой поговорить.

-Но!

-Разумеется, не сейчас. Когда освободишься.

-Я не смогу…

-Но ты забыл про кактус. И он совсем захирел без тебя.

Я поворачиваюсь, чтобы уйти. Вслед слышу полный недоумения вопрос джинсовой:

-Какой еще кактус?

Мне неважно, что ответит Дудик, мне важно, что через полчаса он будет дома, и мы опять почувствуем себя одной непоколебимой силой.

* * *

Он пришел минута в минуту, как я и ждала. Отпер дверь и сразу же двинулся к кактусу. Деловито предупредил:

-Я пришел полить кактус и сразу же ухожу. Внизу меня ждет Джамиля.

-Кто она?

-Моя девушка. Мы с ней встречаемся. Я ее люблю.

-А почему ты нас не познакомил?

-Зачем? Чтобы ты опять все испортила?

Я грустно улыбнулась:

-При чем тут я? Ты не любил ни одну из своих девушек, делал их несчастными, а сейчас обвиняешь меня?

-Ты сама все прекрасно знаешь! И я не хочу больше говорить с тобой на эту тему. Нам обоим тяжело. И я не хочу терять тебя окончательно.

-Дудик, ты не потеряешь меня никогда. Я твоя единственная семья. Кроме меня, у тебя никого нет.

-Я знаю. Но так нельзя. Мы не можем быть вместе. Я не могу всю жизнь прожить подле тебя. И ты не можешь обречь себя из-за меня на одиночество. Пожалуйста, выходи замуж за «Претенциозного». Поверь, он не такой, как кажется. Он любит тебя, он будет заботиться о тебе. У вас появятся дети. Я тоже женюсь на Джамиле. У меня тоже будут дети, и мы будем ходить друг к другу в гости. Все у нас будет как у людей!

Боже мой, Дудик! Неужели ты веришь в то, что говоришь? Неужели ты так наивен, бедный, родной, любимый мой! Но в ответ я говорю другое:

-Ты прав. Ты абсолютно прав. Я не буду тебе мешать, и больше ты меня не увидишь.

Мы знаем, что это неправда. Мы знаем, что спустя месяц, минута в минуту Дудик вернется сюда, чтобы полить кактус. А сейчас мне, действительно, все равно. Ведь Дудик опять ничего не понял. Или сделал вид, что не понял. Только упал на колени, обнял мне ноги и заплакал:

-Отпусти меня, умоляю, отпусти!

Я погладила его по голове:

-Знаешь, почему наши родители расстались? Потому что отец не смог ничего поделать с красотой нашей мамы. Она была для него слишком недосягаемой. И она решила, что проще уйти. Теперь тоже самое делаешь ты. Я все понимаю и не держу тебя, Дудик. Иди к своей девушке…

-А ты? Что будет с тобой? Ты обещаешь, что выйдешь замуж? Ты обещаешь, что отпустишь меня?

Я молчу. Но ему не нужен мой ответ. Он уже стоит в дверях. Он торопится уйти, потому что боится остаться. Но я знаю, что через месяц, а потом еще через месяц, а потом еще и еще он будет возвращаться. И поймет, что я жду его. И, еще я уверена, что в один прекрасный день кактус зацветет оранжевым цветком. И тогда, я знаю, Дудик решит остаться…

2006

Родился в 1973 году. Поэт, переводчик, печатается в литературной прессе с 1991 года. Автор двух поэтических сборников. Лауреат нескольких литературных премий и участник многих литературных фестивалей. Живет в Тбилиси.

Вечерня

То, что я хочу рассказать, светлей,
чем младенца смех, и теплее рук
материнских, быть может.
Безмятежный сон, что лежит вокруг
бездорожья, там, где нехожен луг,
безмятежен сон, там трава служит ложем.

Океан небес, синее всех
высей, чище всех, прежде виденных,
высей дальних – бескрайней.
Лишь глаза закрой, сердце вспомнит их
и увидит, лишь задержи на миг,
лишь дыханье на миг задержи, дыханье.

Аз есмь пекарь и на своем веку
я влеку судьбу – что мука бела,
счастье – теплое тесто.
Золотым, доставшимся бедняку,
солнцем полон рот – весь словарь дотла,
лишь люблю, люблю, люблю, слов вместо.

Я рыбак – моя улыбка на дне
глаз твоих блестит, разнежась, плывет
рыбкой в светлой лагуне.
Твоего давно зная сердца ход,
понял лишь сейчас я свое и вот –
без тебя уже не могу, не могу, не могу, не…

Помню, как сейчас, как я покидал
незабвенную родину мою,
небеса с облаками,
в дом к тебе придя, подожду, когда
одиночество сгинет без следа,
под тобой простыню увлажню словами.

Я твоя жена, я тебе верна.
Я твой муж, Господу вверенный, я
муж твой, муж я твой верный.
Знаю, в главном, ты не поймешь меня,
ибо слышишь все из пределов сна,
соглашаясь: ветер, да, ветер в двери.

Вновь ложусь с тобой, моему в ответ
доверяется дыханье твое,
и темнеют волос волны –
так, любя в тебе каждый жизни след,
я люблю твое же небытие,
ну, на что мне это, скажи, на что мне?

Уолт Уитмен против Джорджа Буша

Этим утром, этим хмурым мартовским утром,
Пока Земля еще не перестала дышать,
Пока травы еще не утратили способность под ветром шелестеть,
Пока рыбы еще не исчезли в морях и реках,
Пока льды еще не успели растаять на полюсах,
Пока радость еще не отступилась, тенью следуя за каждым из нас,
Я взываю к вам, люди,
Этим пасмурным мартовским утром взываю я к вам,
Кто на этой Земле укоренился глубже древес первородных,
Кто для этой Земли поважнее, чем дождь и снег, чем Солнце и звезды,
Кто из этой Земли прорастает, подобно траве, кто питается этой
Землей и в свой срок возвращается в эту Землю,
Люди, я к вам взываю,
Кто на Дальнем Востоке выходит в открытое море на рыболовецких
судах, снастями груженных;
Кто на китайских полях, орошаемых желтой водой, растит рис,
принося домой
еженощно на волглых подошвах землю, желтую землю, которой
являетесь вы;
Кто в австралийских обитает градах и весях, зная твердо, что
блаженная эта земля – ваша;
Кто на дорогах индийских в рубище сидит с рукой протянутой или
с цветочными гирляндами торопится в храм, где ждут улыбчивые и
молчаливые боги;
Кто в российских бескрайних просторах прозябает, налившись
водкой, прозрачной, как ваши души;
Кто в Сахаре с оазиса на оазис переносит соль и пшеницу, чья кожа
черней той земли, из которой вы произошли, вы, рожденные этой
землей и ею наученные терпению;
Кто у подножья египетских пирамид сеет и строит, воспринимая как
обыденную данность обступающие вокруг окаменевшие тысячелетия;
Кто в Греции, в Италии, в Испании, во Франции ощупью ищет счастье
внутри городских лабиринтов;
Кто в Украине, в Белоруссии, в Грузии учится свободе, ибо ваша она от
рождения и нельзя о ней вам забывать;
Кто на Крайнем Севере выносит лютые морозы и любовью

постель по ночам
согревает, в чьих жилах кровь течет горячее лавы;
Кто по улицам Нью-Йорка вышагивает и взглядом пытается отыскать
привычные небоскребы, сровнявшиеся с землей, – жизни цена вам из-
вестна не понаслышке;
Кто в джунглях Амазонки, Конго и Новой Гвинеи пребывает и
радуется, глядя
на далекие звезды;
Кто под небом Багдада и Тегерана затравленно ждет с минуты на
минуту огненного града –
К вам я взываю,
Этим мартовским пасмурным утром я к вам взываю, люди,
Кто мною здесь не упомянут, кто мне неведом, кто столь отдален
в пространстве,
Что слово мое до вас не дойдет и через многие годы,
Но все же к вам я взываю
Во имя любви и всего сущего,
Ибо сегодня некому, кроме вас, выступить против смерти,
Ибо сегодня некому, кроме вас, кричать, вопить, орать в защиту
жизни,
В защиту нашей всеобщей святыни,
В защиту
Жизни.

Перевод с грузинского Максима Амелина

Виноградник.

Никогда не стриги мою книгу, в ней ни одно
Слово не будет лозой без тебя. Это вино
Долго искал, подбирая землю, солнце, дожди,
Каждую строчку с любовью к тебе прививая.
Мой виноградник цветет, склон оплетая волной,
Трепетных листьев живые страницы срываю
Бережно и прижимаю к груди.

Вот оно, сердце мое, чувствуешь? – не для чужих.
Не для далеких. Никто, кроме тебя, в нем не жил –
Строк черенки приживутся, надеюсь я слепо.
До ноября в ожиданье вина молодого
Бродит по дому запах, будто старик, и кружит
Голову виноградное слово,
И распрямляет побеги упругие в небо.

Эти слова как трава только с первого взгляда,
А заглядишься под ноги – прозрачна рассада,
Чувственны корни лозы, огнеупорна их плоть.
Царственна жизнь на корнях. Властная гроздь налита.
Стоит отведать хоть раз драгоценного яда,
Слова распробовать вкус: все остальное – вода
Пресная. Будь ты не царь, а Господь –
Ты бы не смог позабыть это вино никогда.

Перевод с грузинского Ирины Ермаковой

Вечная память

Снова в отцовскую комнату входишь, – как прежде:
Ласточки – там за окном – возвратившись, щебечут,
Все расцветали бутоны сирени, за нежным
Мартом торопится сердце свободней и легче.

Ты, кто так любит всегда находиться в сомненье,
Даже любовь под вопросом, – заметив у двери
Пух от чинары, клубящийся густо, и тени
Больше не вносишь во всю эту жизнь недоверья.

С ясностью каждую трещинку в комнате помня,
Ищешь, она ли ночами все снилась и снилась,
Отчая комната эта, которая, кроме
Пыли и стен, для тебя ничего не хранила.

Только лишь сад неизменным остался: парная
Дышит земля, воробьев крик на груше в ветвях ли,
Прежние ль песенки дождь в мандаринах играет, –
Но постарело все, сделалось хрупким и дряхлым.

Смотришь на ласточек, словно желаешь, чтоб крылья
Мысли твои обрели, чтоб когда-нибудь рано
Утром собраться – они над землей бы парили –
И полететь вслед за птицами в теплые страны.

Перевод с грузинского Анны Золотаревой

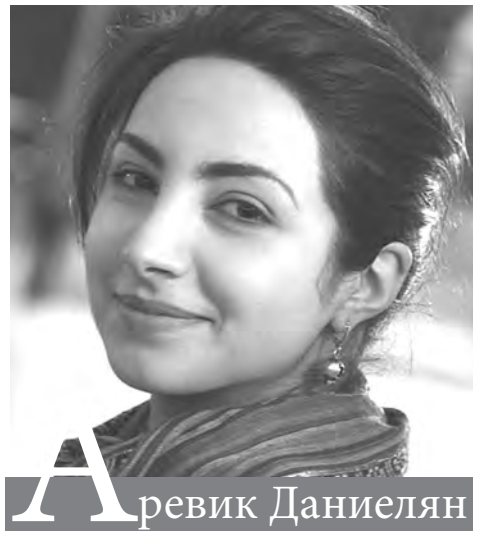
Родился в 1975 году. Главный специалист отдела охраны памятников Министерства культуры РЮО. Увлекается горным туризмом, альпинизмом и фотографией.
Живет в Цхинвале.

Зима в Цхинвале

Осень в селе

Старый город

Старый мост



Аревик Даниелян

Родилась в 1991 году. Работает юристом в строительной компании «Four Directions» и фотографом в «NAREKATSI Art Institute”.

Живет в Степанакерте.

Эля Джикирба

Музыковед, окончила Тбилисскую консерваторию. Балуется дизайном, собирает современную живопись, в первую очередь - художников Абхазии. Имеет собственный блог. В литературном издании публикуется впервые.
С 2001 года живет в Москве.

Смерть мёртвого

Реплика по поводу дня кончины Брежнева

Для меня Брежнев всегда был мертвецом.
Живые так не разговаривают.
Он механически открывал прикреплённую челюсть, и из неё вылетали склеенные наспех слова–мякиши. В какой-то момент челюсть буксовала, и мертвец, с трудом расшатывая заевшие клёпки, всё-таки выталкивал очередное слово из чёрного зева.
Когда он шёл, не сам, конечно, а с помощью ассистентов, чувствовалось, как труден для него каждый шаг.
Я росла впечатлительной. Для меня и события попроще имели значение, а тут – живой мертвец! Я как завороженная смотрела на неуклюжую мумию. Застыв в трансе, слушала вылетавшие из неё слова.
Мёртвый живой Брежнев. Плоть от плоти порождение безвременья, в качестве пищи впитывающее в своё бесплодное чрево пустые прилавки и рулоны туалетной бумаги.
Его подлинная, физическая смерть удивила.
Разве мертвые умирают?
Помню дикую скуку. Пыль в воздухе от развеянного праха.
Трудно дышать. Трудно думать. Нечего говорить. Хочется спать.

Цитата

Прочла фразу в одном комментарии.

«..Она читает книгу, а ты уходишь в другую комнату».

Поразила её смысловая глубина. И хотя фраза была произнесена совсем по другому поводу, захотелось расширить её рамки, заглянуть вовнутрь.
Получилось размышление. На тему иссушающего дыхания одиночества и живительной силы любви.
«Она читает книгу, а ты уходишь в другую комнату».
Сколько народу так живёт!
Она смотрит на небо, он - на проезжающий мимо автомобиль.
Спрашивает её.
- Ты видела?
Она в ответ.
- А ты?
И если они находят общий язык – значит, они не просто вместе.
Они – единомышленники.
Если же нет, то «она читает книгу, а он уходит в другую комнату».
А что делать, когда нестыковка становится невыносимой?
И слышен треск ломающихся перегородок?
И оба всё время вдвоём, но бесконечно далеки друг от друга?
Например, она - оазис. Журчит ручей, колышутся на сухом ветру пальмовые листья, поют птицы.
А он - высохшее русло.
Бегут по нему трещины в разные стороны. Ползают змеи. Трескаются от жажды губы.
Можно и наоборот, поменять их местами. Какая, в сущности, разница?

Главное не в том, кто из них двоих оазис, главное - чтобы он был.
Тогда и высохшее русло рано или поздно оживёт, и уползут в свои норы змеи, и станет влажным облизывающий губы язык.
Любовь между двумя – это в первую очередь любовь одного из них.
И тогда, даже если «она читает, а он вышел в другую комнату»...

Они вместе.
Навсегда.

Патрахула

Моё мировоззрение формировалось в среде, представлявшей из себя странную смесь из не подлежащей сомнению любви к коммунизму, его вождю Ульянову-Ленину и великому советскому государству, и ненависти к большевикам, отнявшим у моей семьи всю землю.

А ещё к проклятому Ленину и страшным Сталину и Берии, лично убившим моего шикарного деда в 1937-ом году, когда моему будущему папе было семь лет.

Любовь к большевикам и Ленину формировалась матерью.

Ненависть к ним же – бабкой.

Приезжая на всё лето в село, наполненная прекрасными сказаниями о Ленине в шалаше и в Горках и страстным желанием оживить его, если вдруг в руки попадёт волшебная палочка, я с ходу погружалась в жёсткий, непоколебимый в сознании своей правоты мир экспроприации земель, доносов соседей, никогда не проходящей ненависти и мстительного желания свести счёты с давно почившими врагами.

Это был мир погибшего в тбилисской тюрьме красивого человека, молча взиравшего на меня с большого, обрамлённого бархатной рамой портрета.

Моего деда.

Я разрывалась между любовью к ним обоим.

К Ленину, такому доброму, любящему всех детей в мире, с морщинками вокруг весёлых глаз.

И к нему.
Человеку с портрета.

Красавцу почти двухметрового роста, щёголю и гедонисту, любителю книг и живописи, знатоку всех трав в регионе,

потомственному знахарю.

Глядя на его портрет, моя старая бабка всегда повторяла одно и то же:

– Днеитаргааит Ленин!

Что в переводе с абхазского означало страшное:

– Чтобы его вырыли из земли обратно.

Пожелание эксгумации было самым мрачным из обильного реестра проклятий бабки, и она щедро пользовалась им в ключевые моменты обсуждения семейных хроник. Ей, моей бабке, было невдомёк, что её мрачное проклятье давно осуществлено, причём - в самом прямом смысле, а несчастный Ленин уже много десятилетий лежит посреди огромного гулкого поля в виде восковой куклы. Когда ей говорили об этом, она не верила.

Погружённый в авторитет ритуала разум отказывался принимать уродливую правду.

Помню, как впервые услышав от бабки проклятье в адрес любимого вождя, я, маленькая, кричала и плакала.

Помню её удивлённый ответный взгляд.

Периодически она выводила меня за околицу и показывала на лежащие вокруг возделанные поля.

– Смотри. Это всё было нашим. Здесь был сад. Всё отняли большевики. Ленин отнял.

Я начинала спорить, доказывая, что Ленин был самым добрым и лучшим и сделал революцию, чтобы мы все жили счастливо.

Она усмехалась в ответ. Интересовалась:

– И что хорошего я видела от Советской власти? Работа, работа, работа! Всю жизнь! В колхозе как проклятая работала, бесплатно.

– Почему бесплатно, бабуля?

– Жена врага народа была. Разве это счастье?
Я что–то лепетала, оправдываясь. Про будущее. Про всемирную революцию. Про моё счастливое детство.

Она скептически усмехалась.

А на следующее лето всё начиналось сначала, но с дополнениями, которые уже мог воспринимать мой год от года взрослевший мозг.

Меня поимённо знакомили с теми, кто написал донос на деда. С удовлетворением наблюдали за цепочкой несчастий, преследовавших семью главного, уже очень старого к этому времени, зачинщика (в амбаре повесилась жена, через год на этом же самом месте – дочь). Вновь проклинали Ленина, Сталина и Берию.

Она ушла из жизни, даже не подозревая о том, что главным доносчиком на её мужа был совсем другой человек.

А вскоре пришло время переоценки ценностей. Но рождённые перестройкой перевёртыши не стали для меня неожиданностью, а те потоки информации, которые шокировали людей, оказались естественными и ожидаемыми, и мне, подготовленной её воспитанием, не пришлось трудиться над собой.

Кстати, в такой же жгучей смеси непреодолимостей формировалось и моё религиозное мировоззрение.

В семье и школе царил атеизм.

Бога нет.

В церковь ходят старухи и уроды.

Ты крещёная, потому что так принято.
Это не религия, а обычай.

Пасха? Да, на Пасху красят яйца. Пекут куличи. Накрывают стол. Но это просто обычай. Не праздник. Праздник у нас позже, на Первое мая.

И тут же, в деревне у бабки – смесь из запретных выражений. Шокирующие странной экзотической красотой ритуалы. Тлеющие угли под празднично накрытым столом. Уважение к святилищам – далёким и неведомым.

Удивительные отношения с Богом.

Она могла выйти на середину двора в летнюю засуху и выругать его за плохое поведение.

Рассказываю ей об Иисусе.

– Кто это? - спрашивает она.

– Его сын - объясняю я.

Недоумённое пожимание плечами в ответ.

– Какой сын? Чей сын? Ничего не знаю об этом и не хочу знать.

И всегда оно, волшебное с детства, выражение:

«Далеко, как Патрахуца».

– Бабуля, а где это, Патрахуца?

– Далеко.

– А где далеко?

– Не знаю, где. Очень далеко.

Попасть в Патрахуцу было жгучей мечтой. Как в Шамбалу.

Но про Шамбалу я уже потом, через много лет, поняла.

А вот в Патрахуцу попала вскоре после войны.

Долго ехали по разбитым дорогам. Всё время вверх.

– Приехали. Ты вроде хотела увидеть.

– Что?

– Патрахуцу.

– Где?

– Да вот она, перед тобой.

Боже, какое жестокое разочарование! Заурядное абхазское село, буйная непричёсанная зелень, выцветшая кукуруза в огородах.

Поднялась на небольшой пригорок.

И развернулась передо мной панорама, от которой захватило дух.

Слева – снежные шапки гор.

Под ними – Бедийский храм.

В сизой дымке бесконечной дали – Гал.

Мир – как на ладони.

Зазвенели колокола, заиграла небесная музыка, и нахлынуло на меня моё детство. С бесконечными жаркими днями и усеянными крупными звездами небесами над головой. Услышала я бабкин голос, зовущий в Патрахуцу.

Ответила ей.

Я здесь, бабуля.

Адгур Дзидзария

Родился в 1953 году. Член Международной ассоциации художников ЮНЕСКО, с 2008 – постоянный карикатурист журнала «Русский Newsweek». С 2011 года председатель Союза художников Абхазии. 11 персональных выставок и 17 групповых – от Сухума до Мексики и Италии. Увлекается фотографией.
Живет в Сухуме.

Задумчивость ее подруга, от самых колыбельных дней

Зимний Дурипш

Нина Джусоева

прозаик, член Союза журналистов России, корреспондент газеты «Хурзарин» в Северной Осетии. Первый сборник рассказов «Лучи заходящего солнца» вышел в 2011 году. Сейчас готовится к выходу второй сборник.
Живет в Цхинвале.

Мешочек муки

Страшный голод, случившийся после войны, сорвал с насиженных мест жителей целых районов и областей нашей бывшей родины – СССР. Особенно много среди этих несчастных было украинцев. В поисках куска хлеба они странствовали по всей стране и добирались даже до таких глухих уголков за Кавказским хребтом, как село Рагикау в Южной Осетии, где никто не знал русского языка, а тем более – украинского. Шли толпами, по двое-трое, по одиночке. Но Осетия тоже переживала нелучшие времена: голод не обошел и эти благодатные края. И все же местные жители, сами давно не евшие досыта, чем могли, помогали голодающим – выносили кто кусок черствого чурека, кто – горсть муки, кто – несколько картофелин. Иные отдавали последнее, отрывая от собственных детей. Среди несчастных странников была женщина с годовалым ребенком. Она держалась на ногах с большим трудом, а глубоко ввалившиеся глаза, окаймленные синими кругами, смотрели на мир с такой невыразимой тоской, что повергали сельчан в смятение.

Женщина плакала и, крепко прижимая к себе малыша, что-то пыталась объяснить, показывая то на доставшийся ей кусок чурека, то на ребенка. С трудом, но все-таки сельчане наконец поняли: она боится, что мальчик умрет от голода, поэтому, как это ни тяжело, хотела бы отдать его кому-нибудь за чурек или немного муки.

Жалея несчастную, а больше от бессилия, многие обливались слезами: ведь они ничем не могли ей помочь – своих детей нечем кормить, как тут брать ответственность еще за чужого? В конце концов все взоры обратились к Болатон, и та без слов поняла, что они хотели сказать.

Уазно и Болатон были бездетны. Бог не дал им счастья познать сладость родительских чувств. Так они и жили вдвоем, хоть в любви и согласии, но с неутихающей болью в душе.

Отправляясь на войну, Уазно опять напомнил жене о своей давней мечте:

– Ты все-таки подумай о моем предложении. Если бы ты раньше согласилась со мной, мы бы давно взяли ребенка из детского дома, и я бы сейчас уезжал со спокойной душой, не переживал бы, что оставляю тебя одну. Хоть теперь послушайся меня. Кто знает, как все сложится... Если не вернусь, ты будешь не одна, рядом будет родной

человек, наследник...

Болатон, смахнув навернувшиеся слезы, возразила: богом данную судьбу надо принимать такой, какая она есть, ребенок, если он не твоя кровь и плоть, не может стать родным.

Уазно не согласился:

– Не гневи бога! Не может быть чужим тот, кого ты согреваешь своею любовью, растишь заботливо, в кого душу вкладываешь. Ради чего же тогда жить, если после тебя не останется наследника?

Глядя на измученную голодом женщину, на вконец ослабевшего ребенка, Болатон вспомнила последний разговор с мужем и подумала: «Сам бог послал мне этого ангелочка. Кажется, сбывается мечта всей моей жизни, что же я медлю?»

Она молча направилась в свой дом, достала из шкафа заветный мешочек с мукой, которую берегла на Джиоргуба[1], и вышла на улицу.

Положив мешочек у ног матери, Болатон протянула дрожащие руки к ребенку.

Женщина, громко зарыдав, подняла мешочек и, шатаясь, пошла прочь, время от времени оглядываясь на сына. Болатон стояла в смятении, прижав ребенка к груди, и не знала, то ли плакать, то ли радоваться.

Той же ночью вернулся Уазно. Вернулся без одной ноги. Потерявшая голову от счастья Болатон поначалу даже не заметила этого. Лишь когда они вошли в дом, зажгли лампу, и Уазно осторожно опустился на лавку, прислонив к стене костыли, взгляд Болатон вдруг упал на его пустую подвернутую штанину, и она замолкла на полуслове, не в силах отвести взгляд от этой пугающе пустой брючины.

Уазно, виновато опустив голову, попытался было ободрить любимую жену, но не успел: из дальнего угла комнаты вдруг донесся плач ребенка. Уазно вздрогнул и повернулся к Болатон, но та кинулась к кровати, подхватила ребенка и протянула его мужу. Тот растерянно взял его на руки и вопрошающе глянул на жену.

Когда Болатон закончила свой рассказ, Уазно, крепко прижав ребенка к груди, тяжело вздохнул: – Эх! Кто только придумал эти войны!

Когда супруги несколько успокоились, Уазно спросил:

– А как ты его назвала?

– Как? – Болатон задумалась. – Мне кажется, имя у него есть.

1 Джиоргуба (осет.) – праздник в честь покровителя мужчин.

Его мать все время повторяла, показывая на него: «Мука, Мука, хлеб, хлеб». Наверное, мальчика зовут Мука, и в обмен на него она хотела хлеба.

Уазно, уже хорошо изъяснявшийся по-русски, улыбнулся: он понял,
что женщина хотела за мальчика муки или хлеба, но жене сказал:

– Мука так Мука, даже если его зовут иначе, лучшего имени ему не придумаешь.

В свое время Уазно, убедившись, что ему не дождаться наследника, потерял всякий интерес к своему хозяйству, и когда кто- то из односельчан спрашивал его, почему ты не подправишь это, не переделаешь то-то, он отмахивался:

– Для кого стараться? На мой век хватит и того, что есть.

Теперь Уазно посмотрел на свою жизнь другими глазами: в нем проснулась жажда деятельности, и он задумал перестроить, обновить свой дом. Он постоянно делился планами с Болатон, советовался с ней, а та, деланно обижаясь, отвечала:

– Что ты меня спрашиваешь? Ты – старший в доме, поступай как считаешь нужным!

Но бог отпустил им на все их замечательные планы всего неделю. Как-то после обеда в селе опять появились знакомые уже нищие, а с ними и мать Муки. Она обеими руками прижимала к себе тот самый мешочек с мукой, который дала ей Болатон и, плача, попросила вернуть ей сына. Забери, показывала она жестами, свой мешочек обратно, я его даже не развязывала: рука не поднимается. Уж лучше помереть с голоду, но быть вместе со своей кровиночкой.

Уазно сидел во дворе на перевернутых санях и, обхватив голову руками, молча давился слезами, проклиная свою судьбу. Болатон, с трудом передвигаясь на нетвердых ногах, пошла за ребенком.

* * *

Ночь накрыла уставшее в трудах село своим мрачным покрывалом. Намаявшиеся за день люди, экономя керосин, улеглись пораньше. Уазно и Болатон тоже не засиделись, но уснуть не получалось. Растаяли, как снег весной, их мечты и планы: без Муки жизнь потеряла всякий смысл. Уже под утро Болатон, забывшись, увидела во сне нечто странное. Будто бы она очутилась в каком-то непонятном помещении, ибудто бы там был и Мука. Удивительно, но Мука не только

свободно бегал, но и уверенно говорил. Мука подбежал к Болатон и, плача, сказал:

– Гыцци[2]! Возьми меня домой!

Болатон почему-то знала, что это сон, и что Муку у нее забрала его мать, и пыталась ему внушить это:

– Нет-нет, дитя мое, мы не можем разлучить тебя с мамой, тебе с ней будет лучше.

– Но мамы здесь нет, нету никакой мамы! – зарыдал еще громче Мука.

Болатон проснулась в холодном поту и больше не смогла заснуть, утром рассказала свой сон Уазно. Тот долго молчал, уставившись в пол, наконец, просительно глянул на Болатон:

– Хозяюшка, мы могли бы взять другого ребенка... Может, мы его и не полюбим так сильно, как Муку, и все же давай попробуем... Муку нам не вернуть, а в доме без ребенка мало радости, да и надо подумать о завтрашнем дне... Кто после нас останется, кто нас проводит в последний путь?..

Болатон молча выслушала мужа и так же молча отправилась переодеваться.

* * *

Директор детского дома, узнав о цели прихода Уазно и Болатон, обрадовалась несказанно. В те послевоенные годы сирот было так много, что в детских домах рады были каждому, кто хотел усыновить ребенка.

– Пойдемте, посмотрите детей, – сказала она, – и выберете сами того, кто в душу западет...

Она провела их в просторную комнату, где играли, бегали, шумели множество мальчиков и девочек разного возраста. Увидев незнакомые лица, дети мгновенно смолкли. Они смотрели на гостей с такой надеждой, что Уазно и Болатон совсем растерялись и не знали, на ком остановиться. И в это время какой-то малыш, сидевший в углу, встал на нетвердые ножки и, пошатываясь, что-то лопоча, заковылял к Болатон.

– Мука! – вскрикнули муж и жена и в волнении склонились над ребенком.

– Мука! – зарыдала Болатон и прижала к себе мальчика.

– Мука! – Уазно, с трудом удерживая равновесие, гладил маль-

2 Гыцци (осет.) – мама (ласкательное).

чика по спине.

Ничего не понимающая директор с удивлением смотрела на эту необычную картину.

– Как он попал к вам? – спросила, наконец, Болатон, вытирая слезы.

– Его принесли какие-то нищие, люди не местные, говорят, он украинец. Его мать умерла от голода. Много сегодня таких обездоленных.

Успокоившись, Уазно и Болатон рассказали ей историю Муки.

– Такова, значит, воля всевышнего: судьбой ему предначертано вернуться к вам. Пойдемте, оформим усыновление, как положено, и будьте счастливы!

* * *

Уазно и Болатон были столь счастливы, что им казалось, что их радость разделяют и вся природа, и все люди. Конечно, они жалели родную мать Муки, но, с другой стороны, утешало, что теперь никто не отнимет их ненаглядного мальчика.

Мука рос беззаботно, окруженный любовью, ни в чем не зная нужды. Одно беспокоило Уазно и Болатон: они часто задумывались над тем, что скажут сыну, когда он подрастет. Ведь наверняка кто-то захочет «просветить» Муку и расскажет ему о родной матери. И что тогда? Не откажется ли он от приемных родителей, ведь такие случаи нередки.

В конце концов, они решили: «Будь что будет, что толку заранее изводить себя, надо думать не об этом, а о том, как сына на ноги поставить». А Мука рос, носился с соседскими мальчишками, играл с ними в нехитрые детские игры, купался в речке и никакими вопросами пока не задавался. Что не мешало его родителям пребывать в постоянной тревоге, особенно Болатон, которая боялась всего: вдруг он на колючку наступит, не дай бог, с обрыва свалится, да мало ли что может случиться с озорным мальчишкой!

– Что-то не видно мальчика моего, пойду гляну, где он, – бросала она вдруг свои дела и устремлялась на улицу.

– Оставь, хозяюшка, пусть играет, – говорил Уазно с легкой укоризной.

– Один он у меня, один, и мне спокойнее, когда он рядом, – возражала Болатон.

– И что, всю жизнь так и будешь контролировать каждый его шаг?

Даже когда женится? Он мужчина, и надо его приучать к самостоятельности... Я его уже учу косить, – с гордостью заключил Уазно.

* * *

Время, что скакун резвый: несется, как ветер. Незаметно пролетели годы детства, юности, и вот Мука уже жених, высокий, плечистый красавец. Мать и отец, с таким нетерпением ждавшие возмужания сына, стали подумывать о счастье своего наследника. Пока они строили планы, до Болатон дошли слухи, что Муке нравится дочь Дудаевых из нижнего квартала: всезнающие сельские кумушки ей донесли. Она очень обрадовалась выбору сына: девушка заметно выделялась среди сельской молодежи и красотой, и воспитанностью. Болатон поделилась новостью с Уазно, и тот буквально расцвел:

– Ну, хозяюшка, замечательную новость ты мне сообщила! Лучшей невестки и не пожелаю, счастье-то какое! Опять же семья всеми уважаемая. С ее отцом Барсагом, ты знаешь это, мы большие друзья, породниться с таким человеком – это удача... – Уазно хотел еще что-то добавить, но, заметив, что Болатон изменилась в лице, понял, чем она озаботилась, и упрекнул ее:

– Ну, что ты опять... Какая разница – родной, неродной, знает, не знает... Сейчас речь не об этом: надо подумать, как сыграть достойную свадьбу. Если то, что ты говоришь – правда, надо нам уже готовиться. Ты выясни все поточнее, а поговорить с мальчиком, заслать сватов я беру на себя. Зарежем рыжего бычка, я давно наметил его на свадьбу. Ты тоже готовься, надо купить невестке все, что положено. Закрутим такую свадьбу, чтобы все ущелье запомнило ее надолго...

* * *

Болатон поспрашивала еще кое-кого из односельчан и убедилась, что все так и есть, как ей сказали. Счастливые родители втайне от сына начали приготовления, решили, что невесту приведут в дом в день Атынага[3]. Но тут случилось то, чего больше всего боялась Болатон.

Настал праздник Усанет[4]. Все жители ущелья и их гости собра-

3 Атынаг (осет.) – праздник начала сенокоса.
4 Усанет (осет.) – праздник в честь божества, защиющего от болезней.

лись в святилище. Болатон тоже испекла три пирога и отправилась на праздник.

На широкой поляне у святилища в разгаре были танцы. Все с неподдельным интересом следили за танцующими Мукой и Меретхан. Они перешептывались, поглядывая на танцующих: кто радуясь их счастью, кто – с завистью. Среди последних был сын Цуци Нарикаева Андри, которому давно нравилась Меретхан, и он в этом ей не раз признавался, но она не ответила ему взаимностью. И вот сейчас, увидев, как она, вся светясь от счастья, лебедью плывет впереди Муки, Андри не сдержался и выскочил в круг. Мука и Меретхан растерялись, когда между ними внезапно возник Андри. Девушка нахмурилась и вышла из круга, но Андри догнал ее, схватил за руку и потянул обратно.

– Оставь меня, я больше не хочу танцевать, – пыталась вырвать руку Меретхан.

Растерявшийся поначалу Мука внезапно кинулся к Андри:

– Отпусти ее!

– А ты кто такой? Она тебе жена, сестра или дочь? – вскипел Андри и оттолкнул Муку. Тот схватил его за грудки и кулаком врезал ему по губам так, что Андри упал. Он вскочил и ринулся к Муке. Их успели разнять и развести, но на Муку накинулась Нанион, мать Андри:

– А, чтобы ты кровью изошел! Ты кого это бьешь? Мой сын живет в
доме, где родился его отец, дед, прадед! Их все ущелье знает, а ты... кто ты такой?! Какого ты роду-племени, кто твои отец и мать, подкидыш, купленный за мешочек муки?!

Ничего не понимающий Мука обвел растерянным взглядом односельчан, но те молча отводили глаза, и он ринулся прочь.

Болатон в отчаянии поспешила за сыном. Муку она нашла за селом: он сидел на кургане, обхватив голову руками. Болатон присела рядом на корточки и положила ему на плечо дрожащую руку. Сын поднял к ней заплаканные глаза:

– Гыцци, почему Нанион сказала, что меня купили за мешочек муки?

– Родной ты мой, я этого боялась всю жизнь и вот дождалась... Скажу, сынок, все скажу... Надо было бы раньше, да мы с отцом боялись спугнуть наше счастье, и дождались... Тебя попрекают тем, в чем ты не виноват. Пойдем домой, сынок, выслушай нас с отцом и поступай, как знаешь...

* * *

Мука слушал мать и отца, не проронив ни слова, хотя не знал, куда себя деть: так болело сердце, потрясенное трагедией женщины, готовой оставить своего ребенка чужим, лишь бы он выжил.

Уазно и Болатон, закончив свой горький рассказ, замолчали в тревожном ожидании.

Мука приобнял их:

– Не казнитесь, виноваты не вы, а война. Теперь я буду любить вас еще больше: если бы не вы, наверное, моя судьба была бы не столь благополучной...

* * *

Ссора между Мукой и Андри, раскрытие тайны рождения Муки не помешали счастью влюбленных. В день Атынага, как и намечалось, сыграли свадьбу, прогремевшую на все ущелье.

Жизнь Уазно и Болатон приобрела новые краски. Свою невестку Меретхан они полюбили даже больше, чем приемного сына. Она успевала все: и коров подоить, и обед приготовить, и постирать, и еще много чего, освободив Болатон от нелегких домашних трудов. Прошел год, и еще большее счастье пришло в дом Уазно и Болатон: Меретхан подарила им внука. И тогда, наконец, Мука решился сказать родителями о своей давней мечте:

– До каких пор будем маяться в этой глухой дыре, возить все на арбе, вон в нижнем селе рядом с сельсоветом пустует отличный участок земли: магазин в двух шагах, река – рядом, хорошая дорога на равнину. Лучшего места для жизни и не придумаешь.

Болатон обрадовалась, а Уазно промолчал, а потом и вовсе встал и ушел на улицу. Спустя два дня во время ужина он вдруг вернулся к этому разговору:

– Спасибо, сын, что думаешь о лучшей для нас жизни, но... Ты пойми, в этом доме, пусть он не так хорош, как бы тебе хотелось, мои корни, тут рядом могилы родителей. Как это все оставить? Да и возраст у нас с Болатон не тот, чтобы обживать новые места.

Мука больше ничего не сказал: он не хотел расстраивать отца.

* * *

Шло время. Состарились Уазно и Болатон, стали совсем немощными и все же были счастливы счастьем сына и Меретхан, вырастивших трех прекрасных сыновей. Только счастье-то оказалось не бесконечным. Развалилась та страна, защищая которую, Уазно потерял ногу. Как обычно в смутные времена, на поверхность всплыла всякая нечисть и начала творить неправые дела. Ночью спящее глубоким сном село разбудили ружейная пальба и вой собак. Люди бросились в лес, благо он был совсем рядом, а уж там мужчины быстро организовались в отряды самообороны. Трое сыновей Муки тоже были в этом отряде, а Меретхан вместе с другими женщинами, детьми и стариками пряталась в глухой чаще. Сам Мука остался дома и пытался уговорить и родителей уйти в лес.

– Сынок, мы ж на ногах не стоим, – рыдала Болатон, – ты ведь не сможешь унести двоих, да и кому мы, старые и немощные, нужны, оставь нас и иди туда, где все мужчины.

Уазно поддержал жену:

– Иди, мальчик мой, уходи. Они убивают молодых и сильных, а на таких, как мы, не станут тратить пули.

Мука поверил им и ушел.

На следующий день, когда нападение было отбито, он поспешил домой. И застал там дымящиеся развалины. Бандиты, узнавшие, что Мука и его сыновья сражались против них, отыгрались на немощных стариках: сожгли их вместе с домом.

Оплакав своих стариков, Мука взялся строить новый дом, но только на том самом участке, от которого отказался в свое время ради спокойствия отца. Строил долго: война отняла все, что у него было, и начинал он с почти пустыми руками, продав остатки уцелевшей скотины, отказывая себе и семье в самом необходимом, недосыпая и недоедая. И настал долгожданный день: его большая и дружная семья вселилась в просторный двухэтажный красавец-дом.

***

Но однажды августовской ночью на многострадальной земле Южной Осетии началась очередная война, и новый дом Муки сожгли выстрелами из танков.

* * *

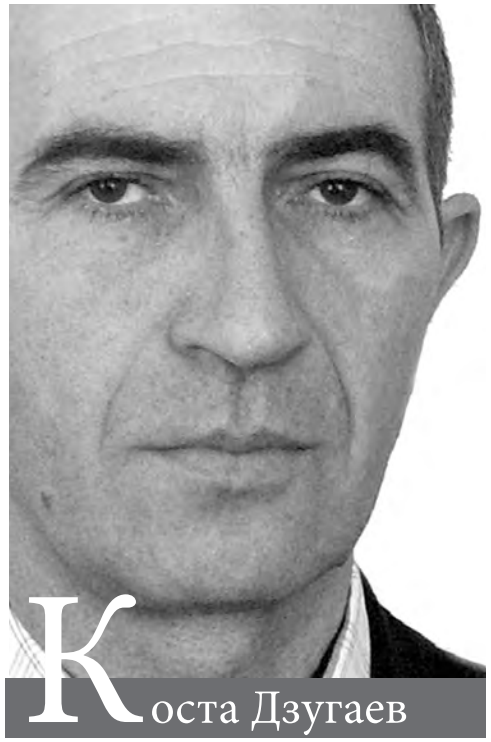
Стоя в очереди за гуманитаркой во Владикавказе, Мука, давясь слезами, рассказывал:

– Три войны катком прошлись по моей судьбе. В Отечественную я потерял родителей-украинцев, и меня вырастила осетинская семья. В 90-е потерял родителей и дом, отстроился кое-как, но в августе 2008-го и он был снесен танками. В третий раз я остался без крыши над головой, – плакался Мука, складывая в сумку то, что ему досталось после целого дня стояния в очереди.

Внезапно он смолк, глядя на небольшой, килограмма в два, пакет мукой и уже ни к кому не обращаясь, пробормотал:

– Надо же, столько же муки, наверное, было в том мешочке, на который меня обменяла родная мать ради спасения моей жизни. Теперь мне самому определили столько же, чтобы я, значит, выжил...

Перевод с осетинского Б. Толасовой



Коста Дзугаев

Автор документально-художественного романа «Огнестрельное оружие» и нескольких рассказов. Данная публикация представляет собой первую главу его нового романа-эссе «Осуществление ожидаемого».
Живет в Цхинвале.

«Ба-алшой мисл!»

Погожим весенним денёчком группа московских политологов и журналистов на пассажирской «газели» проехала через тоннель, пробитый под Кавказскими горами, и остановилась размяться в высокогорном селении Рук, первом на Транскавказской автомагистрали по южную сторону хребта.

В Осетии, что в Северной, что в Южной, все они были в первый раз. Несмотря на яркое солнце, на высоте было холодновато, да и порывы ветра порой заставляли ёжиться привыкших к комфорту москвичей. Женщины кутались в плащи, мужчины поплотнее запахнули пиджаки и куртки. Закурили.

По обочинам дороги теснились будки, где торговали бусами и огненной водой. Приезжие некоторое время полюбовались дикой красотой снежных вершин, начинающей зеленеть долиной с извилистой речкой Льяхвой, затем внимание их обратилось к двум аборигенам, стоявшим неподалеку и о чём-то сосредоточенно молчащим. Оба по самые глаза заросли черной многодневной щетиной, одеты были в грязные бушлаты и ватные штаны, на ногах кирзовые сапоги, один в чёрной вязаной шапочке, надвинутой на брови, другой в войлочной шапке с полями.

– Что это у него на голове? – вполголоса спросила одна из курящих дам. – Зипун?

– Ну чё ты… Зипун – это, кажется, на тело надевают. Какая-то аборигенная шапка, наверное, - ответил нервно затягивающийся очкарик. – Спросим?

Приблизившись, обратился с вопросом:

– Извините… Скажите, пожалуйста, вы говорите по-русски?

Мрачно переглянувшись, аборигены уставились на спросившего и некоторое время бессмысленно таращились. Потом тот, кто в войлочной шапке, ответил:

– Гаварю. Русски нэмного учил в школэ… чэтирэ класа имею абразовании.

– Нас интересует, вот это у вас на голове – это ваша национальная шапка? Как она называется и из чего сделана?

– Называэтся «худ». Паслэдный буква нэ путай. Сдэлана из нэмат. Как по-русски, нэ знаю – вот спроси брата, он восэм клас учил. Умный силна. Вместе овцы пасьом.

– Да! – с гордостью провозгласил брат, и натужно закашлялся.

– Многа чытал, – прохрипел он явно пропитым голосом. – Шляп матэрьял называэтся па-руски войлак. Панял? Войлак!

Акцент у него был сногсшибательный. Вытащив из кармана обрывок тряпки, он высморкался в него и, сунув обратно, выжидательно поднял брови.

Подтянулись другие гости.

– А много у вас овец? – поинтересовался один из москвичей.

– Канэшна, многа! Эшшо каровы эст, сир, масло дают.

– А что вы делаете еще, кроме того, что пасёте скот? – поступил вопрос.

Отвечающий приставил руку к голове, и гости сначала подумали, что он вроде бы отдает им честь, намекая на военную службу, однако абориген имел в виду другое:

– Думаю, - важно сказал он.

– Думаете? – с веселым удивлением спросили гости почти хором. – О чём?

– Аба всём! А луюдях, а дэнгах, а нэбэ… – тут он начал делать широкие вращательные движения руками, как бы охватывая все окружающее.

– И что же вы надумали?

– О-о! Нэ знаю, как ви паймете… Я угадал – вэс мир ест адын ба-алшой мисл! Ба-алшой саабражениэ! Такой, катори сам себя думаэт. Панятно гаварю?

Политологи из числа тех, кто ещё помнил что-то из вузовского курса философии, пододвинулись поближе, не веря своим ушам.

– Зэмля, вада, сонце, луна, – хрипел дальше абориген с неподдельным подъёмом, – м-м-м… вэс природа – бэгаэт па кругу. Павтарят, павтарят, павтарят. Ничиво новоэ – всё староэ, все било, эст и так далшэ будэт. Но мисл! Толка мисл – ба-алшой мисл – дэлаэт то, что ранше нэ било! Дэлает новый! Савсэм новый! Сам себя дэлает новый – вэс мир! Панятно? Кагда ми думаэм – это он, ба-алшой мисл, на самом дэле думаэт. Сэбя думаэт. Панятно?

– Черт возьми… - озадаченно сказал один из слушавших. – Ребята, он же нам Гегеля излагает, об Абсолютном Духе. Это что же такое делается в здешних горах?

– Гогол – читал, – с заметной обидой бросил абориген. – Что – Гогол?

Он положил руку на плечо стоявшего рядом брата. Бушлат его у пояса приподнялся, и гости увидели заткнутый за ремень блестящий диковинный пистолет явно не российского производства.

– Кончай перекур, поехали дальше! – позвал гостей шофер их «газели». – Загружайтесь, надо засветло проехать грузинские села возле Цхинвала, а то в темноте могут и стрельнуть по машине.

Гости с облегчением отошли от насупившегося собеседника и быстренько шмыгнули на свои места от греха подальше.

– Что это у него за поясом было, у этого пастуха? – спросил кто-то в салоне «газели».

- За поясом у него была «беретта», - пояснил водитель, заводя двигатель и выруливая на асфальт. – По итогам армейских испытаний в США признана лучшей в своем классе.

– А вы что, разбираетесь в оружии? – спросили водителя.

– У нас все разбираются – война научила.

– А где ж его можно купить? – спросила одна из дотошных журналисток.

– У грузин, где же еще! – ответил водитель.

– Так война же. Они с вами воюют…

– Воевать воюют, но и торговать торгуют. Местная специфика, – хохотнул водитель и наддал газу.

***

Через пару дней по программе пребывания в Цхинвале группа москвичей посетила югоосетинский государственный университет имени Александра Тибилова. Университет носил имя своего основателя, светлой души человека, умницы и патриота, в тридцать седьмом году теперь уже прошлого века замученного своими же соплеменниками по приказу из Тбилиси; его скульптура украшала фойе главного корпуса.

Ректор был в отъезде (поехал в Москву за дипломами для выпускников), поэтому гостей радушно принял проректор по научной работе. Рассказав об успехах и проблемах вуза, проректор перешел к неофициальной части: на столе появились три пирога и несколько бутылок отменного красного вина – «из личных подвалов», как было сказано. Гости высказали просьбу пригласить для знакомства кого-нибудь из молодых преподавателей, и проректор поручил секретарше обойти две-три кафедры и пригласить кого найдет, а сам тем временем налил вина в устрашающих размеров рога. Один он передал старшему из гостей, другой оставил себе.

Подняв очи горе и вознеся рог над головой, проректор произнес несколько фраз на родном осетинском языке, и затем повторил их на русском:

- Да будет над нами благословление Всевышнего! Возблагодарим Его за нашу сегодняшнюю успешную встречу и вверим себя Его промыслительной воле!

– Оммен! – грянули вошедшие в кабинет несколько приглашенных преподавателей и преподавательниц. Гости вздрогнули от неожиданности.

– Как это у вас дружно получилось! – с невольным восхищением заметила одна из журналисток, нацеливая на появившихся свою миниатюрную видеокамеру.

– Чудеса дрессировки! – ответил один из преподавателей и слегка поклонился проректору в знак признания его заслуг в этом деле. Гости посмеялись.

– Вот, кстати, позвольте вам представить преподавателя этики, политологии и культурологии, к тому же и моего тезку Кирилла Дзомагова. Дрессировке он, прочем, поддается с трудом: я всё стараюсь направить его на научную стезю, ему сам Бог велел писать немедленно кандидатскую по политологии, а он вместо этого бегает по боевым отрядам и изображает из себя боевика. Мальчишка! К тому же он развлекается стихоплетством – вирши, так сказать, кропает, нет чтобы серьёзным делом заняться.

– Вот как, – заинтересовались гости, – а на каком языке вы пишете стихи?

– На обоих родных, – ответил Кирилл. – На осетинском и на русском.

– Ой, почитайте, пожалуйста!

– Минуточку! – возразил проректор – Пока прошу мужчин осушить рог, а женщин – свои бокалы. И вот когда вино заиграет в крови и скучная повседневность бытия заискрится праздничными блёстками – вот тогда настанет черёд стихам, как драгоценным винам. А пока вы пьете, я представлю вам других наших преподавателей.

Наконец вино первого тоста было выпито, лица у гостей порозовели, и настроение улучшилось. Завязался оживлённый разговор между гостями и преподавателями, приезжие выражали свое удивление тем, как здорово здесь разговаривают по-русски – на чистом литературном и без всякого акцента, и спросили проректора, почему так получилось.

– Наш народ уже двести лет вместе с Россией, с русскими. Это исторический выбор наших предков, которому мы верны по сей день. Потому и русский язык воспринимаем как родной. А вообще-то у нас в традиции троязычие, так как и язык наших соседей-грузин почти все

из старшего поколения знают в совершенстве. Молодёжь вот уже практически не разговаривает на грузинском – зато большинство освоило новомодный английский, так что три языка – это норма.

– Двести лет вместе… – заметил один из гостей, - вам бы своего Солженицына, написать об этом. Но, Кирилл, – обратился он к стоящему рядом преподавателю, – мы с нетерпением ждём. О чём же вы нам почитаете стихи? Кстати, мы с вами не встречались раньше?

– Нет, где бы мы могли встретиться? В Россию я дальше Владикавказа уже давненько не выезжал, да и вы здесь не бывали раньше… Раз уж речь зашла о России, – сказал Кирилл и поглядел в глаза задавшему вопрос гостю, словно на что-то намекая, – то естественно будет обратиться именно к этой теме. Мы ведь все думаем о судьбах России, о ее нынешних тяжёлых испытаниях…

Он сделал паузу, и неторопливо продолжил, словно размышляя вслух:

– И моё отношение к России – это отношение и почтительного сына, но и вместе с тем отцовски-покровительственное отношение… Мой взор, всматривающийся в Россию, преисполнен любви и тревоги за нее, но и суров, и строг… – речь его ещё более замедлилась, голос приобрел глубину и особую интонацию. - Благословенье моё – как гром, – медленно и весомо произнес он. – Любовь безжалостна и жжёт огнем. Я в милосердии неумолим. – Он остановился и в наступившей зачарованной тишине бросил: - Молитвы человеческие – дым.

Тут гости, наконец, поняли, что это уже читаются стихи.

– Из избранных тебя избрал я, Русь! – воскликнул Кирилл. – И не помилую, не отступлюсь. Бичами пламени, клещами мук не оскудеет щедрость этих рук, – он приподнял вперед кулаки и медленно разжал их, явив крепкие большие ладони с длинными сильными пальцами.

– Леса, увалы, степи и вдали пустыни тундр – шестую часть земли, от Индии до Ледовитых вод, я дал тебе и твой умножил род, чтоб на распутьях сказочных дорог ты сторожила запад и восток. – Он привычно-неспешно обвел глазами слушателей. – И вот, вся низменность земного дна тобой, как чаша, до краёв полна.

Глубокий вздох вырвался из его груди, и некоторые из гостей подумали было, что декламация закончена и хотели зааплодировать – но не тут-то было, продолжение последовало:

– Ты благословлена на подвиг твой татарским игом, скаредной, – оскалился он, – Москвой, Петровской дыбой, бредами калек, хлыстов, скопцов – одиннадцатый век… Распластанною, - продолжил он со странной смесью презрения и жалости, - голой на столе, то вздерну-

той на виске, то в петле, тебя живьем свежуют палачи – р-раде-етели, – с издевкой в голосе, – целители, врачи-и.

– И каждый твой порыв, и каждый стон, – голос его начал приобретать чеканную твёрдость и метрономную размеренность, – отмечен мной, и понят, и зачтён. Твои молитвы в сердце я храню: попросишь мира? – вопрошающе поднял он брови и с угрожающей интонацией предупредил, – дам тебе резню. Спокойствия? – голос его звучал всё громче. – Девятый взмою вал. Разрушишь тюрьмы? – Вырою подвал. Раздашь богатства? – Станешь всех бедней! Ожидовеешь, - заревел он в ошеломлённые лица слушателей, - в жадности своей!!

Он схватился за узел галстука, словно в удушье:

–На подвиг встанешь жертвенной любви? Очнёшься пьяной по плечи в крови! Замыслишь единенье всех людей?! – загремел Кирилл, и стекла проректорского кабинета задрожали. – Заставлю есть зарезанных детей!! Ты взыскана судьбою до конца!!: – внезапно голос его упал до шепота и, страшно выкатив глаза, он вибрирующее прошипел по слогам, – бе-зу-ми-ем заквасил я сердца и сделал осязаемым твой бред. Ты – лучшая!! – бешено проорал он. – Пощады лучшим – нет!! В едином горне за единый раз жгут пласт угля, чтоб выплавить алмаз! А из тебя, – трагически дрогнувшим голосом патетически продекламировал Кирилл концовку, – сожжённый мой народ, я – ныне – новый – выплавляю – род!

Гости притихли. Никто и не подумал аплодировать, все застыли в напряжённом ожидании, лишь молоденькая журналистка автоматически выключила видеокамеру. Ситуацию вовремя разрядил проректор:

– Махмуд, – скомандовал он, – поджигай!

И гостям, с облегчением зашевелившимся, разлили вино, и проректор поднял тост «за дорогих москвичей, не поленившихся приехать на ныне дикий Кавказ и подвергающихся здесь многообразным опасностям, в том числе декламированию каких-то неудобоваримых для культурных людей куплетов». Потрясенные гости поблагодарили, но насчёт стихов не согласились и несколько потерянно констатировали, что услышали ошеломляющие строки. А есть ли ещё? И можно ли получить от автора тексты? Гости выразили живейшую готовность поспособствовать продвижению поэтической продукции Кирилла на московский рынок поэзии.

– Благодарю вас, благодарю, друзья мои, – ответствовал Кирилл, театрально раскланиваясь, – пустяки, право же. Стихи – ведь это не более чем игра страстей, узорчатое плетенье чувств и переживаний, и

лишь редко, а точнее говоря, почти никогда поэзия не поднимается до высокого штиля благородного мудрствования: это – экстерриториальное пространство философии. Вот если бы мне позволительно было обратиться к вам с нижайшей просьбой почтить вашим вниманием мои скромные и робкие попытки философствования… О, тогда моя благодарность вам, друзья мои («не ёрничай, бесстыдник», – вполголоса сказал ему проректор, но Кирилл, мимолётно бросив на него извиняющийся взгляд, продолжил свой вдохновенный монолог), была бы поистине безгранична. Ибо что может быть драматичнее для философа, когда его озарения, его взлёты, его догадки не становятся достоянием интеллектуалов – собратьев по разуму? Как горько и больно носить в себе понимание величайшей истины и не быть в состоянии поделиться ею – истины о том, что всё это, – тут Кирилл начал делать широкие вращательные движения руками, как бы охватывая всё вокруг, а в речи его прорезался махровый, кондовый осетинский акцент, – всиё ета эст адын, савсэм адын, сам сэбия думающий, ба-алшой-балшой мисл!

Ованес Еранян

Родился в 1963 году. Прозаик и драматург. Произведения переведены на немецкий, русский, французский и персидский языки. В 2004 его пьеса «Слепые» была поставлена в Тегеране. Лауреат премии «Лучший роман 2011».
Живет в Ереване.

Обманчивый день

Годовалый голенький мальчуган встал на пороге дома, засеменил, неуверенно перебирая ручками и ножками, во двор, удивленно глянул на яркое солнце, прикрыл ладошками глаза – вот-вот расплачется, хотя по-серьезному плакать не намеревался, снова огляделся кругом, восхитился миром, будто только сейчас увидел божий свет, и прошел немного вперед. Судя по детской его радости, он впервые самостоятельно слез с колыбельки. Да что там колыбель! – впервые самостоятельно вышел во двор. Проследив взглядом за полетом птицы, мальчуган заверещал от восхищения, снова поднес ладошку к глазам и сквозь пальцы посмотрел на солнце. Оглянулся в поисках матери и, не найдя ее, опять вознамерился было заплакать, но опять же раздумал и пошел дальше.

Неожиданно замычала корова, мальчик обернулся в ту сторону и увидел лежавшую на земле свою мать. Он еще раз попытался заплакать, но верх взяла радость от материнской близости, и малыш направился к ней. Дойдя, шлепнулся возле нее на землю, принялся теребить мать. Потом заметил рядом полное молока ведро, засунул туда ручку и, вытащив ее, облизнул пальцы. Снова повернулся к матери, привычным движением руки вытащил из-под тонкой кофточки материнскую грудь, устроился поудобнее и, взяв в рот сосок, приступил к самому святому в мире делу. Насытившись, снова перешел к ведру, умудрился сунуть туда свою золотоволосую головку. Потом еще немного потормошил мать мокрыми от молока руками. Малышу не понравились мухи, перелетавшие с коровьего хвоста на губы матери и его нос, он закричал на них и принялся сердито шлепать ладошками по молоку. Обильно выплескивавшееся из ведра теплое молоко залило оголенную грудь и шею женщины и, смешавшись с кровью, побурело. Корова повернула голову, поглядела на сосредоточенно-серьезную мордашку мальчугана и снова замычала, но ребенок был так поглощен своим занятием, что не удостоил ее вниманием. Он поиграл еще немного то с грудью матери, то с молоком, потом игра наскучила ему, и он, упершись ручками в землю, поднялся на ноги, сделал несколько шагов, обернулся, посмотрел на мать, снова окликнул ее, но, не получив в очередной раз ответа, пошел дальше. Вышел из двора и, выставив вперед ручонки, прибавил шаг.

День был теплый, но не жаркий, солнце светило, но не жгло.

В небе не было ни единого темного облачка, ни одной черной точечки, ни намека на природные каверзы в виде грома, дождя и молний. Сплошная чистота и беспорочность – сродни ей, памяти детства. Мир был соершенен. Малыш шел по зеленой траве в чем мать родила. Как и всякое дитя, он появился на свет, чтобы спасти мир, – и мир в этот день был спасен. День был безвинный, человек – тоже. Никто не умер, каждая тварь была бессмертна. Смерти не существовало.

Густая трава затрудняла шаг, но малыш не догадывался свернуть на проторенную, утрамбованную земляную дорогу. Раз или два он падал, как садился, похныкивал в очередной раз и, задрав попку, уперев ладошки в землю, снова поднимался на ноги. Прошагав еще немного, обернулся, посмотрел в сторону дома и позвал:

– Ма-а-а...

Подождал немного в надежде на ответ и, не получив его, повернулся и продолжил путь. Дошел до речки, поднял ножку, чтобы ступить в нее, – речка была небольшая, но быстрая, могла унести, утащить мальчугана, – но, поскольку смерти в этот день не существовало, раздумал и убрал ногу. Журчание воды вызвало желание помочиться, и мальчуган по привычке присел на корточки, но трава уколола ему попку, и он, поднявшись на ноги, впервые в жизни помочился по-мужски – стоя. Он пришел в восторг, увидев, как его струя смешивается с речной водой, и, желая продлить игру, принялся взмахивать ручонками, будто придавая себе сил, потом вспомнил и повторил увещание матери при подобных случаях: “Пи-пи-пи”, – но ничто не помогло. Низко нагнулся, чтобы посмотреть, почему из него больше не идет вода, и на этот раз точно упал бы в речку вниз головой, будь день иным. Рука его наткнулась на камушек – он поднял его и бросил в речку. Всплеск воды доставил ему такое удовольствие, что он не замедлил откликнуться на журчание товарища по игре похожими звуками, наставив палец на появившийся на воде круг. Он долго искал в траве камушки. Нашел. Но камень был большой, одной рукой он не сумел его поднять поднял двумя и, всем телом подавшись вперед, бултыхнул в реку. Большая струя воды обдала вымазанные молоком грудь и головку мальчугана, и он, испугавшись впервые, что свалится в воду, повернулся и быстро отступил от речки. Однако направился он не в сторону дома, а зашагал параллельно реке. Потом он шел прямо, а речка бросила его и потекла топиться в море. Постепенно малыш шагал все уверенней, меньше падал и, понимая это, радостно убыстрял шаг. Он подходил к развилке дорог, одна из которых, огибая общественные хлева, вела в деревню с обратной стороны, а вторая тянулась к соседнему селу, уже около двух

лет находившемуся на территории другой страны. Добравшись до развилки, он, не замедляя шага, словно знал, куда идет, выбрал вторую дорогу и зашагал в сторону передовой линии фронта.

По дороге, оставляя в пыли узоры, прополз змееныш. Мальчик попытался поймать его, прошел за ним, наклонясь, несколько шагов, но гюрза исчезла в травах. Выпрямившись, малыш еще раз обернулся посмотреть на деревню, но из-за малого роста ничего, кроме травы, не увидел. Прошагав еще немного, он плюхнулся на землю и, не найдя чем поиграть, стал рвать и подбрасывать в воздух траву. Он рассердился на обрывки травы, падавшие на него, поиграл еще немного, потом, устав, улегся на бок и заснул.

Когда он проснулся, день уже угасал. Бочок его, подставленный под солнце, покраснел. Малыш захныкал, а чуть позже заплакал в голос – впервые после ухода из дома. Он плакал потому, что был голоден. Наплакавшись, позвал несколько раз “ма-а, ма-а”, но, поняв, что его некому слышать, поднялся и опять пошел. Он шел все по той же дороге, что уводила в противоположную от деревни сторону. Незамеченный прошел блокпосты, ступил в поле, изрытое разрывами снарядов и начиненное сотнями мин. Малыш шел сквозь них. Шел прямо на растяжку двух мин, укрепленных друг к другу на десятиметровом расстоянии. Проволока выступала на две пяди над землей и была незаметна в траве. В полуметре от нее ребенок остановился, потер свой животик, покружился на месте и закричал от отчаяния. Он снова сел и, уже не имея сил плакать, всхлипывал только. Лицо его было в пыли, тельце покраснело от солнца, покрылось зеленоватыми разводами от трав. Он опять заснул, но на этот раз его сон больше походил на беспамятство. В воздухе похолодало от упавшего мрака, но малыш ничего не чувствовал.
Чуть позже полуночи поблизости объявилась какая-то тварь. То была гиена, что кружила в минном поле в поисках поживы, а недостатка в человечьих трупах или звериной падали, включая дохлых ее собратьев, здесь уже давно не ощущалось. Вначале любительница мертвечины издали присматривалась к своей жертве, покружила немного, чтобы убедиться, что ей не грозит опасность, затем стала осторожно приближаться. Когда до ребенка оставалось с десяток шагов, она наткнулась на растяжку и потянула ее. Грохот одновременно разорвавшихся двух мин распорол ночную тишину, взметнулся к небу и эхом отозвался вдалеке. Хищницу разнесло на кусочки, разметало по полю. Взрывная волна подхватила и унесла тельце малыша.

На обеих сторонах фронтовой полосы начался переполох, и хотя подобные взрывы были здесь не редкостью, тем не менее всякий

раз стороны в считанные минуты готовились встретить врага. Боевые действия не велись уже около полугода, было заключено перемирие, но мир был зыбким – снайперы сторон стреляли в жителей ближних деревень или патрульных бойцов, провоцируя возобновление военных действий.

В предрассветных сумерках воздух огласился воем и скулежом собак и шакалов. Они умолкли, только когда из мрака начали вырисовываться мир и природа. И снова над землей встало ясное и мирное утро.

Уже две недели европейские специалисты-саперы в сопровождении представителей обеих сторон занимались разминированием округи. Действовали они крайне осторожно и неторопливо, и если за день обезвреживали одну-две мины, считали свой труд продуктивным. Работы было много, территория – обширная, сплошь утыканная минами.

Как-то в полдень неожиданно залаяла собака саперов, не пытаясь, однако, и шагу ступить без команды хозяев. Все застыли, напряженно глядя по сторонам. Собака привела и остановила людей возле головы гиены; чуть поодаль саперы заметили и другие фрагменты тела хищницы, но то, что увидели они немного спустя, настолько потрясло всех, что людей охватило ощущение нереальности: что это – призрак, видение, галлюцинация? По полю медленно брел, покачиваясь, голый ребенок. Для призрака он был слишком красив.

– Аллах, Аллах, – прошептал один из военных и опустился на колени. Ребенок открывал и закрывал рот – плакал, но ни единый звук не вырывался у него из горла.

– Ну и дела, прости Господи, – пробормотал другой военный.

Мальчик сделал еще несколько шагов, пошатнулся и упал. Высокая немка, не в силах больше оставаться на месте, бросилась к ребенку, презрев все инструкции по передвижению по заминированной территории. Добежав, схватила его на руки, и на пыльное, покрытое грязью, потрескавшееся тельце малыша закапали слезы. Она попыталась, но так и не вспомнила, когда плакала последний раз. К ним подбежали и другие члены миссии. Влили малышу в рот несколько капель воды, затем сладкого чая из термоса, но привести ребенка в чувство так и не сумели.

- Если он останется жить, – пронеслось в голове немки, – я никогда не расстанусь с ним. Брошу это опасное занятие, потому что Бог даровал мне в жизни цель. Только бы он открыл глаза, только бы издал хоть один звук, только бы он не умер.

– Нужно срочно доставить его в больницу, – сказал немецкий сапер. Вопрос, в больницу какой стороны, повис в воздухе.

– Этот ребенок спустился с небес, – сказал офицер одной из сторон. – Его Аллах послал, он наш.

– Спустился ли он с небес или появился из-под земли – он наш, – возразил военный другой стороны.

Он взял малыша за плечо, повернул к себе и радостно воскликнул:

– Будь он из ваших, был бы обрезанный, погляди! Немка грубо оттолкнула его руку.

– Мы отведем его к нам, – сказала и крепко обняла малыша.
На этом настаивали и остальные европейцы, а офис их находился на обратной стороне фронтовой полосы.

Иных доводов, кроме того, что мальчик не обрезанный, у христианского офицера не было, и потому после недолгого сопротивления он уступил, тем более что не представлял, что будет дальше делать с ребенком.

Двое суток немка не отходила в больнице от койки малыша. На третий день он открыл глаза, прошептал “ма-ма”, взглянул на женщину и, не признав в ней своей матери, заплакал. Потом еще раз позвал свою мать и, протянув ручку к груди женщины, принялся теребить ее. Женщина быстро сунула ему в рот соску, натянутую на бутылочку с молоком, но малыш языком вытолкнул соску и, схватившись за шею немки, попытался губами взять ее грудь. Женщины расстегнула ворот платья – сопротивляться она больше не могла. После нескольких минут безуспешных усилий ребенок захныкал и принялся царапать ей грудь. Вторая попытка покормить ребенка из бутылки увенчалась успехом, и немка возликовала, услышав непривычное ее уху детское “аум-аум”.

Весть о найденном полуживым малыше между тем разлетелась по близлежащим селам. Никто в этих местах не терял ребенка, и тем не менее многие приходили в эти дни поглядеть на чудо Аллаха. Были и попытки завладеть ребенком – чтобы в дальнейшем продать его родителям или обменять на своих пленных сородичей. Но немка была настроена решительно и сумела отстоять малыша. Она никогда не придавала значения национальности или вероисповеданию людей и сейчас не понимала, отчего так рада, что ребенок не мусульманин. Следовательно, вероятность того, что он очутился на минном поле с обратной стороны границы, была велика. “А если нет? Если я и там не найду его родителей? – подумала она, и сердце ее на миг затрепетало от радости, но уже в следующую минуту сжалось от безымянного страха: – А мо-

жет, мальчик действительно спустился с небес и появление его – божье чудо?" И она поспешила отогнать охвативший ее мистический ужас. "Да, поистине божье, ибо предопределило дальнейшую мою судьбу, и я никогда уже не расстанусь с ним", – сказала она хоть и шепотом, но так твердо, будто говорила собеседнику.

На пятый день немка взяла ребенка на обратную сторону фронтовой полосы. Мальчика узнали соседи. Через переводчика они рассказали, что его мать убили.

– А где его отец? – спросила немка, крепче прижав малыша к груди. Переводчик трижды повторил вопрос, но собравшиеся никак не отреагировали, только потупили головы. Переборов замешательство, немка озвучила свое предложение уступить ей ребенка и на этот раз так крепко прижала малыша к себе, что тот заплакал от боли. Присутствующие опять промолчали, только еще больше потупились. Необходимо было срочно отправляться в город, чтобы уладить вопрос усыновления. У немки ослабели ноги, когда ребенка забрали с ее рук: ей показалось, будто она оставляет среди чужих людей частицу самой себя. Малыш тоже не хотел с ней расставаться, не шел из ее объятий, прилип к груди, а собравшиеся смотрели испуганно и враждебно.

Однако хватило недели, чтобы он совершенно забыл ее, настолько отдалился, что даже шоколадку не хотел брать с ее рук и кричал, когда женщина пыталась обнять его. Немка была в отчаянии, а дядя малыша по отцу между тем покусывал губы, думая о том, что еще не все потеряно и положение можно как-то исправить. Перед тем как уйти с плачущим малышом, немка положила на стол пачку денег и свой дюссельдорфский адрес. Увидев деньги, родич малыша повернулся к переводчику и гневно выкрикнул:

– Скажи, пусть забирает свои деньги, мы не торгуем детьми!

Воодушевленный этим выпадом, запротестовал и один из соседей:

– Знаете, сколько детей мы потеряли? Тысячу, десять, сто тысяч, миллион! Знаете?

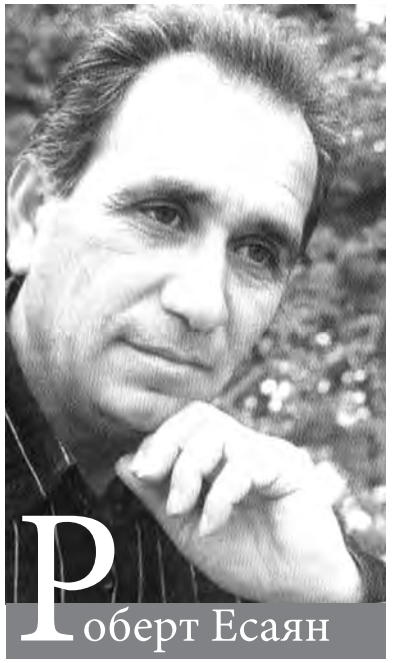
Переводчик не произнес ни слова. Некоторые из собравшихся принялись увещевать и успокаивать недовольных. "А, пусть уезжает, может, счастливым будет, большим человеком станет. Что его здесь ждет, кроме страданий?..", – прошептал дядя малыша, но, подавленный присущим их роду безволием, выскочил во двор и зарыдал.

А усыновительница в эту минуту думала, что единственно верным для нее решением будет замести свои следы: "Ведь ты давно мечтала перебраться в Канаду, самое время сейчас".

Спустя три дня малыш со своей новой мамой пересекал самолетом океан. Бросив без призора тайну своего сиротства, улетал, чтобы пропасть в море бесчувственных, незлопамятных и немстительных к истории безбедных людей, – как пропала в незнакомом море речка, его товарищ по игре.

Вышел годовалый малыш из дома, вышел в чем мать родила и отправился поглядеть на мир. А день был такой ясный и обманчивый. День прикидывался невинным, как дитя, и казалось, что смерти нет, что никто из родившихся после Адама на свет не пропадет.

Перевод с армянского Ж. Шахназарян



Роберт Есаян

Родился в 1958 году. Автор двадцати поэтических сборников, его стихи неоднократно публиковались в российском журнале «Огонек» и московских «Литературных вестях». Лауреат многочисленных литературных премий. В 2008 награжден «Золотой медалью» Министерства культуры Республика Армения.
Живет в Степанакерте.

Час, который превыше судьбы

Лицедеи власти дремлют.
Наша улица пустынна.
Взгляд мой катится куда-то,
Как клубок. А два кота
Все хотят его распутать.
Лицедеи власти дремлют.
А когда наступит утро,
Площадь будет вновь стонать

От тяжелых треволнений,
От неслыханных раздоров.
И начнет по миру рыскать необузданная страсть –
Только бешенством несменным
Захлебнется, заблудившись,
Так как нет другого мира за пределами страстей.
Снова вспыхнет свет лечебный,
Он теплом своих ладоней
Все тревоги обогреет,
Все страданья исцелит.
Он взойдет,
как наша вера,
вера грозная,
родная
В то,
чтоб жизнь бескрылых истин
превратить в загадку вновь.
А пока что власти дремлют,
Роль свою во сне придумав,
И ушедший день расседлан.

Лишь мелькают два кота.
Мой до смерти взгляд усталый тоже
катится куда-то,
Как клубок,

что не распутать никому и никогда.

Власти дремлют,
роли дремлют,
в час, что всей судьбы превыше.
Назначает жизнь свиданье непростой своей мечте,

Что сияет так невинно,
Как глаза котов полночных,
В час,
Что всей судьбы превыше,
В час превыше всей судьбы.

Перевод с армянского В. Хомякова

Точка опоры голоса

I
Нет, не буквы, а вены, в которых
Наша кровь разливается – ищет нас.
В этом поиске я и родился,
И с тоскою назвал его … Родиной.

II
Я пишу, только не на бумаге,
А на взоре всесильного времени.
И рассвет поднимается – видишь?-
Из глубин моих черных чернил.
Из тычинок дневного света
Взором вещим нектар извлекаю я.
И моими глазами слово
Наблюдает само nay.
То, что ложью прикрыто, должен
Голос мой распороть, как лезвие.
Ведь Вселенная вся – лицо мое.
Время – это мой долгий взгляд.
Голос мой – это конь быстроногий.
Он к утратам моим прикасается,
Пролетая дорогой мечтаний…
Вечным поиском это звучит.

Перевод с армянского Елены Исаевой

* * *

Вся тяжесть мира растворилась в моей
слезе,
все солнца скатились на дно моего
злосчастья,
впервые, Господи, я по себе убиваюсь,
мужаю от страха за будущие потери.
Когда небеса догорали в тумане боли,
вершины дремали в изножье вселенской
бездны,
я осязал ожиданье потерь, что билось
теплыми волнами, точно крыло подранка.
Но мир обагрился моим ожиданьем страха,
исторг ядовитую желчь из подземной
глотки,
взревел, зашатался и рухнул в кровавой
пене
и раны зализывает… не узнаю – чужой!
Как же так, Господь, в необозримой Вселенной,
Просторной такой, всеохватной
и вездесущей
страх умещается в страхе уже утоленном,
грех умещается в неискупленном грехе,
Вся тяжесть мира растворилась в моей
слезе,
Все солнца скатились на дно моего
злосчастья,
Впервые, о Господи, я по себе убиваюсь,
Мужаю от страха за будущие потери…

Перевод с армянского Надежды Кремневой

* * *

Следы мои туманными стали,
Смех мой – грузом ненужным…
Встают предо мною мои воспоминания
Миром чуждым и незнакомым.
Я брожу между мною и собою,
И восхищают меня
Малозначимые вещи.

* * *

Стемнело. Опускаю голову
На твои белые колени:
Свет лампад обаяния твоего
Лишил границ…
Светает. Один я,
Окруженный
Перезвоном твоих молящихся
Следов…

Перевод с армянского С. Балаян

Фатима Заде

Родилась в 1981 году. Юрист, гендиректор ООО «Единый расчетный центр». Эта подборка стихов – ее первая литературная публикация. Живет в Сухуме.

Через десять весен Ты скажешь: – есмь! – а я скажу: – когда-то...(с)

Я хотела бы жить долго, лет до ста.
Жить в доме, чтобы из каждого окна – море.
У меня была бы большая столовая,
В которой стол обязательно круглый
И скатерть ручной работы, как положено – кружево.
Библиотека с камином (или черт с ним, с камином),
Но кресло-качалка – не обсуждается.
Моя комната была бы маленькой,
Только самое необходимое.
Спала бы на резном топчане, в углу – старый шкаф
С отрезами древних материй и таких же платьев,
И маленький столик, на котором (привычки стареют ведь вместе с нами?) творческий беспорядок:
сердечные капли, обязательно книжка, массивное серебряное кольцо, хрустальный графин с водой
и что-то еще по мелочи.
В доме б пахло сушеной лаврушкой, морем, ожиданием, счастливой старостью
И иногда выпечкой.
(Успеваешь записывать, ангел?)
А если идти вниз по склону, будет кладбище.
Там много родных, знакомцев и просто любимых.
Я тоже присмотрела б себе местечко, но об этом при сыне – ни слова,
Расстраивается.
На кладбище летом здорово. Пчелы, цветущий шиповник и тишина.
Я надевала б самое лучшее платье, то, которое из батиста с двойной юбкой,
И шла в гости.
Это ж ведь ерунда, что на кладбище мертвые,
Когда тебе сто лет, слова не нужны,
Важнее присутствие.
У меня была бы внучка.
Красавица-девка.
Немного надменная, но внутри – те еще страсти.
И чтобы все говорили – «Один в один – бабка».
Она училась бы в Йеле на какого-то политолога,

Писала б дипломную, в которой, что ни слово –
То нечитаемое.
Она, конечно, ходила б на танцы, влюблялась в мерзавцев
И писала мне письма.
«Well, бабуля, привет! Надеюсь, ты пьешь таблетки, которые купил тебе папа. И спишь ночами (помнишь, доктор говорил про режим?).
У меня все нормально. Как обычно, делаю глупости.
Мою нынешнюю глупость зовут Стив. Ему 35, у него двое детей от первого брака, саксофон и ротвейлер.
Ок, мне надо бежать. В 2 коллоквиум по истории, может, еще успею подготовиться.
Будь умницей! See you!»
А я бы долго еще улыбалась пустой комнате. И писала б в ответ:
«Знаешь, милая, дети, саксофон и ротвейлер – еще не самое страшное, что может приключиться с мужчиной.
Но если вдруг Стив из глупости станет тем, кого очень хочется гладить перед сном по лицу
(ты же помнишь эту семейную историю, правда?),
привези его к своей старой бабке.
Расскажу ему, как справляться с абхазкой».
А еще у меня бы был внук. Кудрявый неугомонный малыш с красно-синим мячиком.
– Бабуля, иди на ворота! – кричал бы он мне, а когда забивал гол,
Хохотал.
И я все время просила бы
(ты успеваешь записывать, ангел?)
Бога,
чтобы дал мне дожить до лета,
А осенью,
когда уедут внуки,
Можно и умирать.

Он

Он ездил на подержанном «ауди».
Хорошая была машина, добротная. Прилежно служила лет шесть.
И могла бы, как минимум, еще столько же.
Если бы как-то вечером, за ужином, жена не сказала:
«Знаешь, милый, все мои подруги на машинах, одна я – Золушка».
Он доел мамалыгу, ничего не сказал, пошел искать пульт от телевизора.
Через два месяца во дворе появился «мерседес».
«Почему я раньше ей машину не купил? Теперь проблем не знаю: садик, школа, рынок – все сама».
Приятели понимающе улыбались. Заказывали еще по чашечке кофе.

Детей он любил.
Позволял им играть в тетрис в его телефоне. Иногда забирал на море – «полчаса купаемся, а по дороге купим большой арбуз».
Дети радовались. Понимали: у папы, как обычно, нет времени. И тоже его любили. Не за арбуз, и уж, конечно, не за тетрис, а безусловно.

С женой было сложнее.
Ну, он еще с детства усвоил, что от женщин одни неприятности. Но она так улыбалась, что он забывал все. Даже инстинкт самосохранения.
Через год сыграли свадьбу.

Он не верил в кризисы. Говорил: «ты погонишь с этими книжками», целовал в макушку, уезжал к друзьям играть в нарды.
А лет через семь понял, что начал врать.
«Телефон разрядился», «я на совещании, не мог ответить», «не говори ерунды – мне, кроме тебя, никто не нужен».
Она много плакала. Угрожала разводом. Шантажировала детьми.
А потом успокоилась.
Перестала задавать вопросы.

Лет через десять он заметил, что они практически не разговаривают.
– На работе все нормально?
– Да, пойдет.
– У сына соревнования завтра. Едут в Сочи. Надо дать денег и поговорить с тренером.

– Хорошо, сделаю.

Иногда он вспоминал все: ямочку на щеке, ее смех, острые коленки, дурацкую челку. Как они часами говорили по телефону.
И он даже читал стихи.

Вчера ночью он потянулся к ней, чтобы рассказать о том, что все помнит.
Она тихо отвела руку, шепнула: «Извини, я сегодня очень устала».
Отвернулась.

Утром встал рано, чтобы никого не будить. Уехал на работу.
А вечером понял, что не хочет домой.
Поехал к маме.
Вдруг заметил, что мама стала совсем старенькая.

– Знаешь, сынок, в сорок лет ведь жизнь не заканчивается…
– Мама, ты о чем сейчас, а? Пожарь картошку лучше.
Как в детстве.

и надо мною одиночество возносит огненную плеть...

Она

Филолог. 32. На вопрос отвечает: «Мне уже почти тридцать» и кокетливо закатывает глаза.
Это работает. Восклицают: «Не может быть! Никогда не дашь больше двадцати!»
Верит. Но приходит домой и долго смотрится в зеркало, которое сильно увеличивает.
Вздыхает, достает заветные баночки.
В этой древней войне проигрывает.
Никому об этом не рассказывает. Даже подруге детства, которая единственная знает, почему тогда так и не сложилось с М.

Преподает в институте. Говорят, строгая. Но если на нее долго смотрит Ахра с 4-го курса, краснеет. У Ахры по ее предмету тройка. А еще он сказал, что ей очень идет эта белая кофточка.

Иногда ходит на свидания. Правда, в последнее время все реже.
Раньше могла ответить: «Жду принца». Сейчас иногда отшучивается Омаром Хайямом.
«Ты замуж еще не вышла?» – слышит часто. Только теперь не злится, устало улыбается.

У нее строгая мама. И нет отца. Зато есть младшая сестра и собака. Которых надо кормить.
Взятки не берет. А зарплаты едва хватает на белье. Вернее, на его половину. На хорошие трусики. Не Беларусь.

Занимается с учениками. Играет с ними в слова, читает Есенина.
Не того, который «мне осталась одна забава», а того, который
«…И какую-то женщину
Сорока с лишним лет
Называл скверной девочкой
И своею милой...»
Детям нравится слово «имажинисты».

«Вам бы в руки еще отвратительные желтые цветы – и вылитая

Маргарита», – написал М. из прошлого на стене и поставил противный смайлик.
Удалила аккаунт с «Одноклассников».

Она любит море. Но на набережной вечерами многолюдно.
Дома говорит, что идет поздороваться с дельфинами.
Достает белую кофточку. Неторопливо застегивает каждую пуговку.
Улыбается.
Она любит гулять по утрам.

***

Знаешь, малыш, в нашем «завтра» ты обязательно будешь взрослым.
Настоящим мужчиной.
Как папа.
И у тебя, наверное, будут секреты. Темы, о которых с мамой – нельзя.
Или, может быть, стыдно.
А когда я спрошу, кто та девушка, с которой я видела тебя вчера
вечером, ты улыбнешься и скажешь:
«А любопытной Варваре на базаре нос оторвали»,
И поцелуешь в макушку.
Но это всё завтра.
Сегодня я целую твои пяточки и говорю то, о чем потом будет,
быть может, нельзя. Или стыдно.

…Знаешь, малыш, твоя мама ведь не всегда была только мама,
Вот сейчас, например, она – слегка повзрослевшая девушка
(был бы постарше – знаю, считал бы иронией).
«Слегка» – потому что 30 – это ужасно много только тогда,
Когда тебе 20 и не с тобой приключилась эта неуютная цифра.

Знаешь, малыш, твой папа говорит, что я – на знатока и ценителя,
И когда я вижу нежность в его глазах, то мирюсь
с аргументами зеркала.

Знаешь, малыш, я люблю запах кожи дорогого салона авто,
Цыганские юбки, грейпфруты, джаз, море, ходить босиком, мужские
пижамы,
Немое кино, браслеты, когда слова – точные,

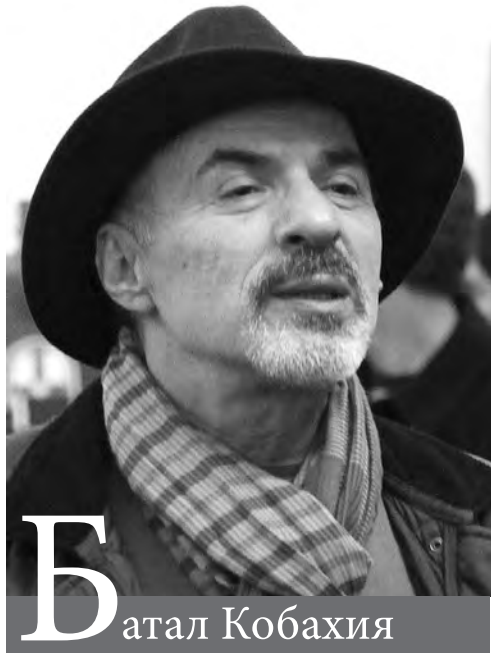
И больше всего на свете – тебя.

Последнему – веришь.
Говоришь «сильно-сильно!», не отвлекаясь от телевизора.

А завтра будешь просто целовать меня в макушку.
Потому что обязательно станешь взрослым.
Настоящим мужчиной.
Как папа.
И у тебя, наверное, будут секреты. Темы, о которых с мамой – нельзя.
Или, может быть, стыдно.

***

надоело врать.
говорить и себе, и людям,
что такая, как все.
надоело врать.
делать вид, что мечтаю о доме, детях, внуках,
счете в швейцарском банке
и отсутствии целлюлита еще лет,
как минимум, сто.
надоело врать.
потому что по-настоящему я хочу одного – «из тела – вон».
но чтобы при этом обязательно в шелковом платье цвета
морской волны,
а на журнальном столике записка, в которой размашистым почерком
«я прошу у Бога немного – рая».
надоело врать.
стоп.
снято.
спасибо.



Батал Кобахия

Родился в 1955 году. Известный общественный деятель, публицист, блоггер, депутат Национального собрания-парламента РА. Печатался в периодических изданиях.
Живет в Сухуме.

Самсон и Бабуца, или история одной женитьбы

Родом мы из села Лыхны, где расположена знаменитая поляна, на которой абхазы издревле изъявляли свою волю. Украшением священной поляны, одной из семи главных святынь абхазов, являются сохранившийся в первозданной красоте храм Успения Богородицы 8-10 века, позже ставший усыпальницей последних абхазских владетельных князей, развалины царской резиденции и величественные липы по краям поляны. Самой старой из них более 300 лет. Возле храма Богородицы, на окраине поляны, стоит липа помоложе. Если взобраться на нее, то открывается хороший обзор на всю поляну и старый дворец абхазских царей. Говорят, что в 1864 году полковник Коньяр именно на этой священной поляне изъявил волю русского царя абхазам. Тогда он собрал народ и с пафосом сообщил им новость, которая еще, возможно, и не дошла до далекой провинции империи, о том, что русский царь отменил крепостное право и дарует свободу всем крестьянам, в том числе и абхазам, и что теперь они могут выкупать свои земли. Когда до крестьян дошел смысл послания, они возмутились и ответили посланнику царя, что абхазы никогда не были крепостными и тем более не зависели от царя, и поэтому, дескать, им никто не может даровать свободу, которую у них никто и не отнимал. А земли, которые им предлагают выкупить, принадлежат им испокон веков, и они не собираются выкупать то, что принадлежит им по праву. Посланник царя трижды объявил им волю царя. И трижды собравшиеся на поляне абхазы ответили ему и сопровождавшим полковника людям, что земля по праву и испокон веков принадлежала им, абхазам. Хотя, думаю, не то что полковник, а и сейчас многие не понимают того, что тогда не понравилось абхазам. Когда же он попытался сказать это в четвертый раз, один из них, сидевший как раз на самой молодой липе, выстрелил в него и сразил насмерть. Если точнее, то в этот день возмутившимися абхазами были убиты, помимо начальника Сухумского военного отдела полковника Коньяра, еще несколько чиновников и более 50 казаков. Началась перестрелка, потом переросшая в Лыхненское восстание, которое вскоре было жестоко подавлено. Зачинщики смуты, стрелявший и двое его друзей, были сосланы на каторгу в Сибирь. Остальных, несогласных с волей царя, вынудили отправиться в махаджирство, изгнание на чужбину. Так началась первая волна насильственных переселений абхазов в страны Ближнего Востока.

Знаменитая Лыхненская поляна, на которой народный сход принимал исторические решения

Фото Адгура Дзидзария

Стрелявший с липы в посланца царя был мой прапрадед Кайнаг. Теперь другая жизнь, другая история. Но часто, приезжая в свое село, я стою под той липой, что растет возле храма, и смотрю на нее, на развилку ветвей, откуда, возможно наблюдал за происходящим на этой поляной когда-то мой прадед, и думаю о том, какие мысли были у него в голове, что он чувствовал тогда. И это дань памяти ему, поскольку он так и не возвратился из ссылки, и я не могу пойти на наше родовое кладбище, чтоб преклонить перед ним голову.

Есть еще одна достопримечательность на этой поляне - это тоже дворец. Но время постройки этого чудного сооружения относится к недавнему периоду. Официально называется он «Дворец культуры», в котором располагается сельсовет, но в народе он прослыл как Дворец Председателя, в честь построившего его в свое время очень влиятельного руководителя колхоза. Воздвигая это здание в зените своей славы и могущества, он, видимо, невольно пытался задавить габаритами своего творения остальные природные и архитектурные реликвии. Но люди снисходительно не замечают эту постройку. Хотя сейчас новый дворец выглядит, в силу своей неухоженности, гораздо древнее и, разумеется, непригляднее, нежели постройки тысячелетней давности.

Мой отец рос в окружении обожающих его сестер. Так сложилась судьба, что, потеряв троих братьев: двоих в период Отечественной войны, а одного в детстве, он остался единственным мужчиной в окружении многочисленных женщин. Причем, единокровной сестрой была всего одна, красавица Маруся, остальные были дочерями родных братьев моего деда, которые оставили всех своих детей на его попечении по случаю преждевременной кончины. Все они воспитывались вместе в дедовском доме. Отец, в свою очередь, боготворил своих сестер, и, до последних дней своей жизни, ездил по всей Абхазии навещать их, иногда подолгу оставаясь погостить.

Но сейчас речь о том, как мой отец женился на моей маме.

Еще в раннем детстве мой отец прекрасно танцевал. Его дядя, знаменитый Селым, отличавшийся буйным нравом и упрямством, взял на себя обязанности семейного балетмейстера. Был он глуховат на одно ухо. Как-то он взобрался на огромное дерево, столетний грецкий орех, росший у нас во дворе, пощелкать орехи. Вдруг на гигантской высоте кто-то рванул его за рукав и оборвал новый кафтан. Селым взревел от негодования, потому что, как я уже успел заметить, был весьма

необузданного нрава. Обернувшись, он увидел, что это медведь, тоже решивший полакомиться орешками. Ему бы быстро спешиться вниз, но, поскольку гнев уже полностью овладел его рассудком, Селым, не размышляя ни минуты, накинулся на медведя. Долго они там рукопашничали, попеременно или дуэтом издавая неистовый рев, чем приводили в изумление домочадцев, и, поругиваясь и урча, свалились в смертельном объятии с ореха. В схватке медведь откусил деду Селыму ухо, а тот задушил его от гнева и обиды. После этого дед стал туг на одно ухо. Вот так бывает, что медведь не только на ухо наступит, но еще и в порыве «нежности» откусит. Оторванное ухо добавило дополнительные устрашающие черты к природной свирепости Селыма. Все знали о его глухоте, но до него самого это так и не дошло. Когда окружающие говорили тихо, он, раздражаясь, цедил сквозь зубы: «А что это ты шепчешь, словно немой?», но если говорили нарочито громко, он пуще прежнего приходил в негодование: «Ты что кричишь, я что, глухой, что ли?».

Так вот, дед Селым решил взяться за воспитание своего любимого племянника. У него было семь прекрасных дочерей, но поскольку так и не родился желанный наследник, всю свою воспитательную страсть он обрушил на маленького Самсона, именно так звали моего отца.

Иногда вечерами, когда в главном доме у моего деда собирались гости, Селым, демонстрируя свои способности постановщика танцев, заставлял отца плясать на столе, выделывая пируэты на носках. Для остроты ощущений он вытаскивал охотничье ружье и нацеливался на стол с танцующим племянником. Возражать был бесполезно, а главное, не безопасно. Все знали, что он может пальнуть по ногам, если отец во время танца невзначай зацепит посуду или разольет вино. К счастью сервировка абхазского стола в те архаические времена была не столь обильной и изысканной, так что бьющейся посуды было немного.

Впоследствии весть о танцующем на носках мальчике стала известна многим и не могла быть не услышанной знаменитым хореографом Паатой Патарая, который к тому времени уже создал первый танцевальный мужской ансамбль, частенько дававший представления перед первыми лицами государства, как местными, так и приезжими. Говорят, что даже Сталин специально приезжал поглядеть на джигитов, танцующих на носках, которые являлись обязательной частью программы во время пиров, устраиваемых в его честь. Так в 14 лет папа попал в знаменитый ансамбль, тем самым господь сберег его от возможных непредсказуемых последствий танцевальных вечеров в отцовском доме.

Бабушка моя облегченно вздохнула, как говорится, от греха подальше, хотя не по душе ей был фривольный выбор единственного сына. Отец протанцевал в ансамбле лет пять, а потом сбежал оттуда в театральное училище для одаренных абхазских детей, открытое в тридцатых годах известным русским режиссером и меценатом Домогаровым. Именно его выпускники были у истоков создания первой абхазской профессиональной труппы, в которой непревзойденной примой на все времена была красавица Екатерина Шакирбай, жена и подруга маэстро Домогарова, первая и самая легендарная абхазская актриса. Всего Домогаров успел выпустить два потока. Отец учился во втором. Практически все выпускники впоследствии стали кумирами публики и, разумеется, будущими корифеями абхазского театра, войдя в историю как самые первые, просвещенные, прекрасные и талантливые. Каждый из них стал легендой еще при жизни. Среди них, легендарных, был и мой отец. Там он и познакомился с Азизом Агрба, который в тот период считался наиболее знаменитым актером в первой абхазской труппе. Славился он еще и тем, что похитил красавицу жену у своего учителя Домогарова, с которой и прожил вместе до конца своих дней. Домогаров вскоре уехал. То ли не вынес разлуки с любимой женщиной, то ли посчитал, что сделал уже все для того, чтобы абхазский национальный театр состоялся.

У Азиза было много братьев и сестер. Жили они в соседней деревне, и при первых же гастролях труппы в их родное село Куланурхва отец, разумеется, влюбился в самую младшую из сестер. Говорят, она была неземной красоты - черноглазая, светлокожая, с роскошными смоляными косами до пят. Во всяком случае, именно так она выглядела на единственном сохранившемся фото, ретушированном карандашом, где они запечатлены вдвоем. В детстве я с восхищением простаивал перед ними часами и не мог оторваться от красоты, исходящей от этой женщины, и грусти, затаившейся в ее глазах. Звали ее редким абхазским именем Царпица.

Они поженились и прожили в счастливом браке всего четыре года. За это время она успела родить отцу трех моих старших сестер и брата. Однако рождение младшей, четвертой, дочери, подкосило ее здоровье, и в течение месяца она скончалась.

К тому времени все сестры отца давно повыходили замуж, так как в основном были старше него. Отец в ту пору был просто незаменим в театре. Бабушка едва справлялась с воспитанием четырех погодков. Ее сын и раньше редко бывал в селе, так как все время гастролировал по всей Абхазии. А тут совсем от рук отбился. Говорят, таким

образом он справлялся со своим горем. Не откладывая в долгий ящик, эту проблему решили на семейном совете - для того, чтобы справиться с воспитанием детей, отцу надо еще раз жениться. Был объявлен срок, и все необходимые параметры предполагаемой невесты для предстоящей женитьбы: желательно, чтоб претендентка был здоровой и работящей, неплохо бы, чтобы вдовушка, и, желательно, бездетная. Иначе, кто пойдет за голодного актера с четырьмя детьми на руках, в село, где много работы? Да и потом, четверо детей и по тем временам считалось вполне достойно для абхазского мужчины, тем более для комедианта. Такая вскоре нашлась. И нашел ее ближайший друг отца по сцене и по жизни Джарнас Амкуаб.

Моя мама родилась в горном селе вблизи пещеры, где был прикован Абраскил, абхазский Прометей. Открыл в свое время эту пещеру ее дед, известный долгожитель, Маджагва. Поляна у пещеры по сию пору называется его именем. Мама была третьей из шести дочерей моего деда Махаза, и к тому времени, побывав около семи лет в замужестве, она вернулась в отчий дом. Детей у нее, разумеется, не было, что и стало причиной проявленного к ней интереса. Выбор моего отца, а вернее, его друзей и родни, пал именно на нее. Причем, увиделись они впервые только на своей собственной свадьбе. Сватовством занялся Джарнас, поскольку он был родом, как и моя мама, из восточной Абхазии и был немного вхож в семью моего деда Махаза. Но никто толком не знал, а собственно, и не поинтересовался, почему у нее не было детей после семи лет замужества.

А дело было вот в чем. У села, в котором родилась моя мама, не было поблизости школы. Отец отдал ее на обучение к своим близким родственникам в соседнее. И хотя к тому времени ей было уже около 12, она пошла в первый класс. В школе была всего одна классная комната, в которой учились дети разных возрастов. Учительница на всех тоже одна. Система образования была в тот период весьма привлекательной и демократичной. Можно было незаметно, сидя в одном классе, вдруг, за очень короткий период, оказаться в другом. Учительница, в зависимости от успеваемости, могла быстренько перевести ученика на класс выше и наоборот – для этого достаточно было пересадить его с одной парты на другую. Впоследствии мама всегда утверждала, что училась весьма прилежно и могла сделать великую карьеру, если бы не произошел один несчастный случай.

На первом же году ее обучения, когда она зашла с опозданием в класс, у нее порвался каблук резиновых калош. Калоши эти одевались

на тонкую обувь на высоких каблуках и имели две, величиной с пуговку, застежки. Но поскольку у нее не было соответствующей обуви, она забивала резиновый каблук деревянной колодкой, обернутой длинными марлевыми повязками, чтобы калоши были устойчивыми. В тот роковой день, когда она, слегка опоздав, пробиралась к своей парте (а проходила она, как всегда с горечью вспоминала впоследствии, мимо стола, за которым сидел тогда еще юный Алыкьса Ласурия, впоследствии очень известный поэт), и произошла эта трагическая история. По ее словам будущий поэт частенько украдкой на нее поглядывал. Он ей тоже нравился. В качестве доказательств она всегда приправляла эти воспоминания стихами из раннего творчества поэта. Чаще всего мы делали вид, что понимаем и, главное, верим в то, что именно она была музой раннего творчества будущего классика абхазской поэзии, и даже находили некоторое ее сходство с теми образами, которые возникали при чтении поэтических шедевров, рожденных в пору их совместной учебы.

Так вот, когда она проходила мимо него, каблук и треснул с шумом. С этого момента начинается история, которая полностью изменила ее жизнь. Колодка вылетела и стала раскручиваться из марлевых повязок на глазах у изумленной публики. Колодка крутилась неистово, как веретено, мать носилась по всему классу, чтоб её поймать, но безуспешно. У нее потемнело в глазах и, когда она вдруг услышала смех, то не выдержала, подняла свой отвалившийся каблук со свисающими метрами почерневшей марли, путавшейся между ногами изумленных учеников, и убежала домой к тете, у которой жила. Рыдала она неделю, считая себя навеки опозоренной, и никто не мог уговорить ее пойти в школу. Тут к ней и зашла одна соседка. Приласкать, посочувствовать. Причём, тут же стала нашептывать, что по ней сохнет очень симпатичный молодой человек. Мать, в общем-то, замечала эти знаки внимания, но и слышать не хотела о нем. Молода была еще, да и очень хотелось ей учиться. И сердце совсем к нему не лежало. Скольких трудов и упорства стоило ей уговорить отца отпустить ее к тетке на учебу. Но возвращаться в школу не хотела, а к отцу - не смела. Уж очень он был суров. Вернее, больше она боялась своей матери, которая заставляла деда быть суровым со своими дочерьми, считая, что это пойдет им только впрок. Так быстро закончился для моей мамы образовательный цикл, оборвавшись на начальных классах.

Я всегда удивлялся тому, что она вполне сносно читала на абхазском и русском языках. А уж когда я ей однажды принес библию, набранную на абхазском языке латинским шрифтом, она жадно набро-

силась на нее и перечитывала в течение года, чаще всего вслух, пока кто-то из внуков ее куда-то бесследно не засунул. В тот период, когда она училась, абхазский язык использовал латинский шрифт, который выдумал для нас еще в конце 19 века известный русский ученный Услар. Ей очень нравились библейские истории, и она часто приводила нам некоторые из них, назидательно добавляя свои практические выводы. Я всегда смеялся по поводу ее веротерпимости. Будучи мусульманкой, о чем она часто и с гордостью нам заявляла, мама с удовольствием читала библию. Но она с таким же удовольствием ходила с нами и в церковь, когда давала Всевышнему свои бесчисленные обеты. При этом часто возмущалась: «И куда только это правительство смотрит? Не могут, что ли, Коран издать на абхазском языке с латинским шрифтом, чтобы нормальные люди могли читать? И разве нельзя построить одну мечеть? Вон сколько домов культуры понастроили, а толку мало. От всех только и слышишь кибинисматери!». Это была смесь нескольких ругательств на русском языке, которые она органично сплела в одно слово и частенько, в периоды крайнего раздражения, выбрасывала в эфир. В раннем детстве я думал, что она произносит какие-то религиозные мантры, но, не успев пойти в первый класс, понял, что лучше не употреблять это всуе в школе. Впрочем, ее отношения с богом отдельная история, и я как-нибудь к ней вернусь.

К тому времени, когда она решилась распрощаться со школой, ей было чуть более 14 лет. Но она была не по возрасту рослой, статной, плотной, смуглой красавицей. На нее уже заглядывались и строили планы многие сельчане, ожидая, когда она немного подрастет. После месяца уговоров мать решилась-таки убежать из дому и выйти замуж. Впрочем, прожила она с мужем недолго. Она всегда вспоминала о нем с жалостью. Хоть и говорила нам, что сердце не лежало к нему, когда выходила за него, для того чтобы не возбудить у нас ревности за отца, но всю жизнь очень хорошо о нем отзывалась. «Он был такой хрупкий, худенький. Рыцха (бедный)», – добавляла она всегда на абхазском, говоря о нем. «Ничего хорошего так и не успел увидеть. Очень жалел меня всегда», – укоризненно говорила она нам, и мы в этой части не раз слышанного рассказа прижимались к ней, как бы давая понять, что мы тоже ее жалеем. «А как его сестры меня любили! Эх, я же была молодая, красивая, работящая. И очень кроткая. Да, да, кроткая! Что, вытаращив глаза, на меня смотрите? Это вы из меня сделали злую собаку, а тогда я была тихая и кроткая. Ах, какой у меня был золотой характер!» – в этот момент она испытующе смотрела нам прямо в глаза, чтобы убедиться, не подвергаем ли мы это ее утверждение сомнению. Но

мы, как говорится, ни разу не фраернулись! До сих пор никак не могу понять, как она могла одновременно смотреть в глаза троих, а иной раз и четверых своих детей или слушателей? Мы, разумеется, не верили в эту в кротость, но, на всякий случай, быстро соглашались, чтобы не прервать ее воспоминания на самом интересном месте.

Перед войной, на втором году замужества, спускаясь по лестнице с амбара, она оступилась, и у нее случился выкидыш. Так и не успели они, видимо, завести общих детей, поскольку вскоре после этого события муж ее пошел служить в армию. Это был 39-й год. Потом он попал на финский фронт. Еще год от него были короткие известия. Читая его скупые письма, сколько раз тайком она проливала слезы, виня себя в том, что так и не смогла растопить холод своего сердца перед ним. Видимо, трудно было ей простить ему то, что он воспользовался ее девичьей слабостью и неразумностью, так и не могла себе простить, что выходила за него, не испытывая никаких чувств. «Хотя в чем он, рыцха, был виноват? Это все она, соседка, змея подколодная, лылакуа тылхаайт (чтоб глаза ее ослепли) меня уговорила. И мою жизнь поломала, и ему радости я так и не принесла», – как бы говоря сама с собой, завершала она. Потом надолго умолкала. Поэтому мы не любили эту часть рассказа. Это означало, что будет долгий перерыв в ее повествовании о том, неведомом нам, времени. Однако выдержав античную паузу, она, как правило, продолжала свой рассказ о том, что муж ее и вовсе пропал без вести. Чуть попозже пришло извещение, где коротко и черство было написано: пропал без вести, но точно установлено, что в живых его нет. «Нет, чтобы написали, что с ним случилось, куда он пропал, что он сказал в последнюю минуту? Что его душа хотела, пока не сомкнул совсем глаза», – говорила она так, словно бы он и не без вести пропал. Тут мы никогда не задавали вопросов. Кожей чувствовали, что это выше нашего понимания. Но нам почему-то было очень жаль его. Так и образ его всплывал: худенький, с грустными выразительными глазами. Но, несмотря на похоронную, мать упорно ждала его. Ждала и верила в то, что он вернется, и у них начнется новая жизнь, и все будет иначе, теплее и по-человечески. Так и жила все это время, до окончания войны, со своей свекровью. «Сварливая, прости ее господи, была женщина», – бросала она мимоходом, одной фразой закрепляя в нашем сознании ее образ. К концу своего пребывания в их доме мать тихо привыкла к ней. Стала жалеть ее. Даже выучила несколько мегрельских слов, чтобы сделать ей приятное. «Жаль все-таки было ее, сына никак потеряла. Эх, дай бог, чтобы вы никогда не знали что это такое, чтобы я умерла раньше всех», – испуганно заверша-

ла она, перекрещивалась по православному и заключала: «Эй, Аллах, Псимиллах!». Свекровь ее была мегрелкой, хотя к тому времени почти забыла родной язык – слишком долго прожила она в абхазском доме и очень редко слышала родную речь. Так и пригрелись друг к другу ненадолго две женщины в невысказанном горе, с разной судьбой, понимая, что нет у них впереди общего будущего. Вместе пронесли они надежду и скорбь через себя, не жалуясь никому, не обсуждая между собой, работая денно и нощно. Все это время мама практически не покидала дом, чувствуя при этом нутром, что это придется сделать в свое время раз и навсегда.

Хотя нет. Один раз она уехала на месяц из дома. И ничто ее не могло остановить. Кажется, это был 43 год, а может, раньше. Она услышала, что дивизия, в которой служила ее сестра, вдруг перебазировалась в Тифлис. Вернее, об этом их известила сестра, которая уже несколько лет была на фронте. Так и написала, что это временная передышка перед уходом на передовую. И мама сорвалась, прижимая к груди треугольное письмо с радостной вестью, со всей свойственной ей страстью, увлекая в это приключение свою старшую сестру, которая к тому времени была уже давно замужем. «Господи, как только мы добирались в Тифлис! И пешком, и на товарных поездах, и на машинах разных. Где только не ночевали. А хоть время военное было, вокруг столько было народу вороватого. Не смыкая глаз, по очереди берегли подарки, что везли ей. А какие мешки тащили на себе! Не ели ничего. В горло не шло. Что ей предназначалось, ей хотели и довезти. Спасибо людям разным. Как услышат, куда и зачем и откуда мы идем, и кормили, и на ночь оставляли, и кое-что поесть с собой давали, хотя самим нечего было есть. Все на фронт отправляли. Во всем себе отказывали. И главное, как мы все-таки добрались туда, не понимаю. Ведь всего-то пару слов знала по-русски, а по-абхазски никто там и не говорил. Помогало иногда, что я мегрельский немного знала, спасибо свекрови. Почему мешки везли? А мы туда и муку взяли, и сыр копченный, даже свежий немного, и белье теплое. Она же, наверное, там на всем казарменном жила. А мы тут ей навязали из собственных ниток. Мать моя, не разгибая спины, все время пряла нитки из шерсти, впрок заготовленной дедом, еду всякую готовили для нее, сами не могли прикоснуться, в горло не лезло: инжир сушенный, сухофрукты всякие. Сейчас никто ничего не любит делать, а тогда как мой отец все это умело заготавливал. Так все собрали хорошо! Год бы наша сестричка ела, не голодала, еда не закончилось бы, не испортилась! Никак не возьму в толк, откуда у меня такая боевитость была. Я же на Качь рассчитывала

(это ее старшая сестра). Все-таки она жена председателя колхоза была, а она как теленок оказалась. Дурочка, всего боялась. Правда, молодец, глаз не смыкала, все за мешками смотрела, пока я с людьми договаривалась, куда и как поехать. Без нее не довезла бы я ничего. Деньги тоже немного имели. Ну, их мы в таком месте спрятали, что сам черт бы не нашел! Правда, и не понадобились они. Так все помогали», – говорила она, а в глазах такой лихорадочный блеск! Господи, ну сколько раз она нам все это рассказывала, и каждый раз с дрожью надежды в голосе мы спрашивали: «Мама, ну вы нашли тогда тетю Мекбулю?» – «Эх, одной минуты не хватило. Эх, чтоб меня собаки съели тогда, чтобы я раньше ее умерла, моя бедная сестричка. Что только она не пережила, а мы даже толком не смогли к ней приехать. Никогда не прощу себе этого! И Качь не прощу этого. Если бы мы были порасторопнее, то точно бы успели. Надо было мне одной ехать. Но так много хотелось взять с собой. И Качь я пожалела, умолила она меня взять с собой. Не могу, говорит, скучаю очень по ней. Умру от мыслей дурных, пока ты вернешься. И ее не увидим, и ты пропадешь. Ну, совсем глупая она была. Эх, Качь, тогда она была еще сильная и красавица. Красивее ее не было никого в Абжуйской Абхазии. Что потом с ней стало! А что могло со мной случиться? Мекбуля вон, сколько воевала, а она все за меня боялась», – устав от чувств и нагрянувших воспоминаний, мама замолкала, забывая что мы рядом. Мысленно уходила куда-то. «А куда вы мешки тогда с продуктами дели? Обратно привезли?»- пытались мы вернуть ее к реальности. К этому вопросу она так никогда и не могла привыкнуть, вспыхивала: «Мы что, чокнутые были?! Как так можно говорить? Вокруг фронт. Солдаты голодные. Может, и Мекбулю кто-то видел. Все отдали там одним солдатам. Они на передовую шли как раз. И Мекбулю кое-кто вспомнил. Так сказали, во всяком случае. Может, чтоб нас успокоить». «А что дедушка сказал, когда вы вернулись?» – не унимались мы. «Слова плохого не промолвил, что мы без позволения, тайком, пошли. Ведь знали мы, и он знал, что скажи мы ему о нашей поездке, не отпустил бы нас». Потом бабушка говорила матери, что молился он тайком ночью, но ни разу не спросил ее, есть ли известия от его неразумных дочерей: «Все на обрыв возле ореха вставал и вдаль на дорогу смотрел. Она, чтобы поддержать его духом, кричала на него, совсем, мол, старый голову потерял? Лучше бы делом занялся, как бы не накликал беду на нас». Так вот она его воплями и успокаивала. Клин клином, получается, вышибала. Тепло становилось в конце рассказа. Да, он такой, наш дедушка. Он такой! Он бы ничего не сказал! И не понимаю я, зачем она нас испытывала такими страшными историями?

Зачем заставляла дрожать и переживать каждый раз страх потерять ее, Качь, Мекбулю, страдать за молчание Деда, за испуганную брань Бабушки? Но точно знаю теперь, что если не было бы всего этого, то и мы были бы другими.

Вскоре после завершения войны, спустя некоторое время, дед решил ее забрать в отчий дом. Она не стала ему возражать. Она редко возражала своему отцу. Бессмысленно было жить в доме погибшего мужа, когда у тебя нет совместных с ним детей. Так она вернулась к себе в село через 10 лет. Было ей в ту пору 24 года. И она была в расцвете сил и красоты. Шел 46-й год.

Дочерей у деда Махаза было много. Четверо из них были все еще не замужем. Одна, красавица Зина, умерла в отрочестве. Старшая сестра была замужем за председателем колхоза, который никак не воспринимался моим дедом в силу своего неудовлетворительного социального положения. «Как она могла так опозорить меня. Его отец ведь пас скот у меня, работал», – негодовал дед. Дочь была отлучена от дома за непослушание в выборе своей женской судьбы, что не мешало ей, конечно, тайком навещать свою мать и сестер, когда дед предусмотрительно отлучался надолго из семьи. Ее история, полная античного драматизма, заслуживает отдельного описания, но это отдельная тема. Следовавшая за ней сестра только что вернулась с фронта после шестилетнего отсутствия. Она была так печальна, что родители уже не надеялись, что она вполне отойдет от пережитых потрясений и выйдет замуж. Остальные были еще слишком молоды. Моя мать, хотя к тому времени и впрямь расцвела, с отпущенными до колен двумя толстенными косами, тем не менее, уже была замужем, и, по мнению родных, с учетом дефицита женихов в послевоенное время, могла бы только надеяться на случай везения. «Лылахь янызыр (если на лбу написано), и ей перепадет еще анасып (женское счастье), поговаривала тихо ей вслед бабушка, но так, чтобы и мама слышала. Тут был свой психотерапевтический резон. С одной стороны, поддерживалась надежда в анасып, а с другой, в случае вечного вдовства, дочь вполне будет смиренно принимать свою участь, так как вполне подготовлена к такому исходу рассуждениями матери. Подходящим случаем, вполне вписывающимся в понятие о сельском женском счастье, виделся всем в туманной перспективе не очень древний, но уважаемый людьми вдовец. Хотя в то время и вдовцы были в дефиците, в особенности уважаемые и респектабельные, а уж тем более не очень древние.

К тому времени, как я уже говорил, вернулась с фронта ее старшая сестра Мекбуля. Она привезла пару чемоданов с трофейной продукцией и швейную машинку «Зингер». Сестры между собой решили, что все эти сокровища станут приданным для первой же из сестер, которая соберется замуж. Приданное, по всеобщему убеждению, с учетом послевоенной разрухи было весьма завидным. Разумеется, рейтинг в связи с такими девичьими богатствами, мог значительно повыситься! Но все в руках божьих! Оставалось только ждать предложений женихов. Конечно, никто не предполагал, что первой из оставшихся четырех незамужних сестер может стать именно моя мама.

Мой отец был необычный вдовец. К тому времени он стал одной из ярчайших знаменитостей Абхазского театра. В военное время люди, переживая неимоверные страдания и лишения, тянулись к светлому и веселому. Поэтому в моде были всякие мелодрамы, где все хорошо кончается, а если фильмы и спектакли были на военную тематику, то они должны были заканчиваться разгромом фашистов и возвращением домой доблестных воинов. Мой отец был артист многоплановый, но наиболее востребованным к тому времени он стал в комедийных и гротескных ролях. В период войны зрители, приходя в театр, всегда интересовались, играет ли Самсон, и если был отрицательный ответ, поговаривали, что люди не шли в театр, и часто спектакль проходил в полупустом зале. Поэтому отец был задействован во всех спектаклях. Если не предполагалось в пьесе комедийных сюжетов, добавляли специально для него хотя бы пару эпизодов, которые потом становились основными, и именно они пересказывались и запоминались впоследствии благодарными зрителями. К тому же он был весьма привлекательным и слыл искусным сердцеедом, был остер на язык и готов на всякие выходки, которые вместе со своим другом Джарнасом инсценировали ежеминутно на различных народных сходах и мероприятиях. Сюжеты с их участием потом ложились в основу народных историй. Так, до сих пор мне рассказывают анекдоты, как про Чапаева, в котором одним из главных героев был мой отец. Короче, несмотря на то, что он был вдовец с четырьмя детьми, он считался вполне привлекательным и завидным женихом.

Мать-то, конечно, видела отца на сцене несколько раз. Но, как правило, он там был одет то в военную форму, то в разодранную крестьянскую одежду, то в одежду итальянских комедиантов. И потом она видела его к моменту сватовства только в театральном гриме в сельских постановках и при плохом освещении. В тот период разбивали что-то вроде сцены на полянке, если это было в летнюю пору, и вместо ярких рамп ставили по всему периметру сцены керосиновые лампы. Когда

друг моего отца охмурил-таки в пять минут всех этими рассказами о моем отце, а потом объяснил причину своих хлопот, удивление было вызвано выбором именно моей мамы. Никто ведь не предполагал, а сват, разумеется, утаил, что на то были даны определенные инструкции. В свою очередь неутомимый Фигаро сообщил семье моего отца, что у него как раз есть на примете статная, работящая вдовушка, пробывшая семь лет в замужестве, но так и не сумевшая родить никого и по этой причине вернувшаяся в отчий дом. Говорят, что он слукавил тогда, поскольку знал об истинных причинах вдовства и бездетности. Не вдаваясь в подробности причин отсутствия детей, но удовлетворенные длительностью этого отсутствия в замужестве, женским советом в другом конце Абхазии выбор главного друга любимца семьи был положительно одобрен. Одобрен он был и сестрами моей мамы, и ее родителями. Однако, не поверив народной молве о необычайности нежданного жениха, а может быть, чтоб скрыть особую радость по поводу свалившегося на нее счастья, мама потребовала фотографию, на которой мой будущий отец, а ее новоявленный жених, был бы изображен в реальности. Ловкий друг моего отца, Джаранс, и тут устроил все в лучшей форме.

В то время в городе были великолепные мастера фотографий, которые виртуозно владели мастерством ретуширования. Папа был срочно снят на фото в модной фотостудии грека Каро. Нет, с лицом фотограф не работал. В этом не было необходимости. Хоть отцу к тому времени было около 34 лет, у него были густые, длинные, зачесанные за лоб волосы. Тонкие и мужественные черты лица и пронзительный, томный взгляд и сейчас, спустя 60 лет, смущают женщин, когда они засматриваются на его портрет у меня дома над камином. Но с одеждой в ту пору было плохо, и тут мастер постарался. К впечатляющей голове был пририсован роскошный костюм трофейных и киношных образцов с вопиюще модным галстуком в полоску.

В отличие от матери, которая хоть и видела отца на сцене, ее предполагаемый супруг не мог, разумеется, припомнить ее в числе сельских поклонниц. Фотография суженной, где она сидела на траве и наигрывала на гитаре, показалось отцу вполне подходящей, но, помня о том, какую он представил фотографию, где основной успех был сотворен художеством фотографа, он вдруг неожиданно проявил строптивость и потребовал очной встречи. Времена были послевоенные, можно сказать, грустные, но еще и патриархальные. Такие нетрадиционные знакомства, тем более, когда вдовушка уже дала слово, не очень-то поощрялись. Мог выйти скандал. Обручение вроде состоялось, а

жених требует смотрин. Это никуда не шло по сельским меркам, тем более что могло вдруг привести к нежелательному результату. Люди уже готовы к реальной свадьбе.

Но традиции, традициями, а дружба превыше всего. Джарнас решил и эту проблему, правда, весьма своеобразно и с юмором. В один день он предложил отцу поехать с ним в село, где жила моя матушка, якобы в гости к приятелям. Дом моего деда возвышался над сельской дорогой, на высоком и крутом холму. Дорогу от холма отделяла речушка. Верный друг моего отца, посовещавшись с матерью, уговорил ее, чтобы на следующий день в полдень, как бы невзначай, она оказалась у реки. Мать, разумеется, стала противиться такой идее, потому что трудно было предположить, что она ни с того ни с сего может просто прогуливаться так далеко от дома. Как-то не принято это было. Решение было найдено простое, а потому гениальное, которое не дало бы поводов никому заподозрить ее в том, что она готова выйти тайком на смотрины. Они решили, что ближе к полудню она будет стирать в речке белье. То ли мой отец с другом задержался, то ли мать забылась в своем постирочном рвении, но к тому времени, когда они подъехали к мостику, который вел к их дому, она стирала спиной к дороге, скрывая лицо от солнца. Забывшись, она не услышала в грохоте речного шума как они подъехали, а потому не успела оправиться и повернуться к ним лицом. Джаранс, обеспокоенный тем, что отец не видит лица матери, стал размышлять, как ее окликнуть. Но в таком случае нарушалась конфиденциальность, о которой они условились. Отец, видя замешательство друга, быстро его упредил и довольный сказал: «Нет, нет, не беспокой женщину. Если у нее такой красивый и пышный стан, то лицо, думаю, еще лучше!». Эту часть истории никогда не рассказывали ни мама моя, ни мой отец, но я решил ее вписать сюда, потому что не раз слышал ее из уст его друзей, которые любили присочинять всякие истории-небылицы из его похождений. Однако она мне показалась вполне возможной, помня о том, какие различные комические ситуации иногда разыгрывали мой отец со своим другом.

Местные барышни из высокогорного села Отап, единственной достопримечательностью которого была пещера Абраскил, в то время не столь популярная и посещаемая различной экзотической публикой, были просто поражены. Мать молчала, давая понять, что для нее внешность, а тем более одежда, не так важна, как воля и благословение отца. При этом она смущенно краснела. Впереди ей виделась жизнь жены любимца публики в столице. Мысленно она уже представляла себе, как перевезет к себе своих прехорошеньких сестер и выдаст замуж за

галантных друзей своего будущего мужа. Как вечерами она будет сидеть в ложе у сцены и смотреть спектакли с участием красавца-мужа, а после премьеры и ей будет перепадать восхищение ее суженным, и люди кивком будут выражать ей свое одобрение удачным выбором. Кто знает, может, и она пойдет в актрисы, ведь все так восхищаются, когда она поет своим сильным высоким голосом. И она единственная на всю деревню среди девушек, да и молодых парней, кто умеет играть на гитаре. Правда, в последнее время она поет все время печальные песни, время такое, но, в конце концов, жизнь налаживается. Сестра вон вернулась живая, она во второй раз неожиданно определяет свою судьбу с человеком, который является предметом вожделения многих ее односельчанок. Разумеется, она помнила о том, что у него на руках четверо детей, но тогда она не совсем отчетливо себе представляла трудности, которые ее поджидали. Короче, она согласилась. Было решено спешно играть небольшую свадьбу. Почему небольшую? Ну, потому что в семье еще не отошли от воспоминаний войны, потому что отец всего как год овдовел. И потому, что они оба женятся во второй раз. Возможно, были и другие причины, но они утерялись потом в ворохе семейных воспоминаний, а значит, были незначительными.

Невесту должны были вывозить полуаргама, что означает почти открыто, из отцовского дома, но без всяких застолий, вечером и якобы тайком. Дед должен был в это время, когда за ней приедут сваты, как бы выйти по хозяйским делам в сад и в приусадебные пристройки, поглядеть, как там его коровы и всякая живность и, разумеется, завозиться. На приготовления дали всего пару дней. Да что, собственно, готовиться, все было и так уже готово. Приданное, которое имелось в доме для выданья первой из сестер, по тем временам было весьма завидное. Оно состояло из двух чемоданов с немецким кружевным постельным бельем, двух отрезов крепдешина, ситца нескольких расцветок, трех жакетов резиновых (так называли вязанные тягучие кофточки из джерси) в полоску, несколько брикетов мыла, ниток шелковых, иголок, ну и всякой там экзотической мелочи. И, конечно же, верх совершенства и предмет зависти многих - швейная машинка «Зингер». Старшая сестра, привезшая все это с собой из Германии, без размышлений, несмотря на протесты мамы, решила отправить с сестрой в замужество. Да, я забыл главное! Самое роскошное, что было на маме в тот день, когда она должна была выходить замуж, это, конечно же, были совершенно новые резиновые калоши, тоже немецкого производства. Именно о них остались самые яркие впечатления матери и тех женщин, которые приняли ее в тот день в доме моего отца. «Ицырцыро икан», – всегда на абхазском говорила мама о них, вспоминая о своем замужестве и грезах той ночи, что по-русски означало: сверкали-посверкивали-журчали. Дело в том, что тогда с обувью было еще хуже, чем в пору ее раннего девичества, из-за чего ей пришлось в свое время спешно выйти замуж. Все носили резиновую обувь, которая в народе называлась «сухум-сочи». Шилась она из старых покрышек. Мастера-греки, которые ее изготовляли, в тот период процветали. А называлась она так за прочность. Мол, можно в них дойти из Сухума до Сочи и вполне благополучно вернуться обратно, так и не сносив. В детстве я просто до умопомрачения мечтал иметь такие сухум-сочинки, потому как мне казалось, что обладатель их непременно будет ежедневно ходить в мифический Сочи, который воспринимался нами неким сказочным городом с кисельными реками и мармеладовыми горками. Каждый раз, когда мать самозабвенно углублялась в подробности своего замужества, именно этот отрезок ее рассказа я пытался уточнить до мельчайших подробностей, чем приводил ее в раздражение, как бы покушаясь на значимость остальных деталей этой части семейной биографии. Поэтому, наверное, я так и не смог до конца понять, как могли шить из покрышек такую роскошную обувь, а главное, толком объяснить, как она в действительности выглядела. Некоторое время мы во дворе собирали старые покрышки на случай возрождения прекрасной мануфактуры. Однако, выяснить, что из себя представляли «сухум-сочинки», это уже дело историков, которые будут описывать тенденции куртуазной и прагматичной моды середины XX века.

Несложные приготовления к замужеству подходили к концу, и, наконец, настал вечер, когда друг отца вместе с двумя женщинами должен был тайком приехать за ней под вечер и забрать невесту вместе с подружкой в дом жениха. Дом, в котором жил мой дед, стоял на вершине крутого холма. Рядом жил еще один родственник. Со двора открывался прекрасный пейзаж, видно было полсела и извилистую ленточку внизу – маленькую речку, которая отгораживала гору, где стоял их дом, от проселочной дороги. Речку не всегда можно было пересечь на машине, так как она, даже в период незначительного дождика, бурно разливалась в русле и становилась непредсказуемой и весьма опасной. Папа, по прошествии многих лет, печально сетовал, что если бы он увидел эту речку раньше, то никогда бы не решился жениться на нашей матушке, ибо сразу понял бы, с кем он связывает свою жизнь. По его представлениям, жизнь в уединении по соседству с такой рекой не могла не отложить определенный отпечаток на тех, кто жил в непосредственной близости от нее. «Вот почему у вашей матери такие

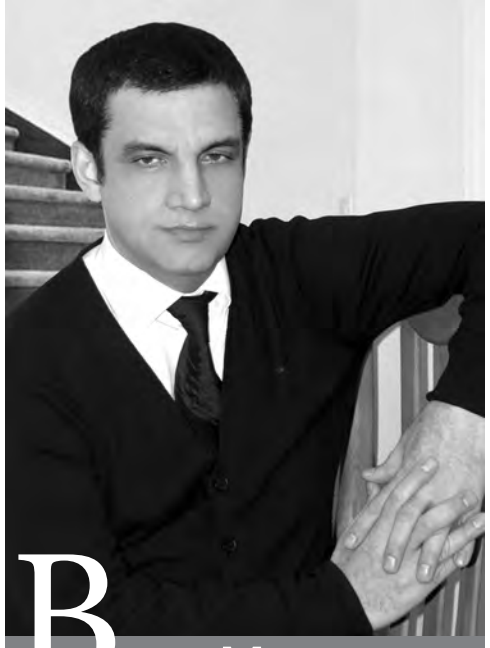
неожиданные буйные вспышки», – грустно заключал отец. Но у матери всегда был на то свой аргумент, с которым с досадой, вынужденно соглашался отец: «А Мекбуля? Она же тоже моя сестра и тоже всю жизнь жила возле этой речки?». Других сестер она не упоминала, это было бы явно в пользу гипотезы моего отца о созависимости природы и человека. «Эх, алакуа дырфаат! (Ах, чтоб ее волки съели), на все у нее есть ответ», – жаловался в нашу сторону отец в такие минуты.

В тот вечер, к счастью, речка была спокойна, так что сваты могли проехать прямо к дому, а это было около одного километра, и не всякий низинный житель мог вполне осил ить дорогу в гору, не запыхавшись. Сваты приехали на «скорой помощи». Машин тогда было мало. У артистической богемы в ту пору и вовсе их не было, а те, что были, явно не осилили бы крутой излом от реки до дома невесты, тем более что до них тоже дошли слухи об огромном приданном. Тут помогли друзья. Срочно договорились с врачом на станции скорой помощи, с которым отец не раз выпивал, и им была выделена машина для такого важного случая. С трудом нашли одну машину, выкрашенную в полевой цвет, не ехать же на белоснежной. На капоте и по бокам машины скорой помощи ярко красовались огромные изображения красного креста. Естественно, машина не могла проехать незамеченной весь путь к дому, а тем более, когда с ревом поднималась по крутому холму к невесте, якобы тайком ожидающей гостей. Сват остался по традиции поджидать в машине, а за невестой, как это предусмотрено свадебным этикетом, пошла одна из женщин, которая приехала с ним, и тихонько зашла в дом деда. Там уже все нервно ждали, уж очень долго и шумно машина «тайком» пробиралась к дому, только мертвый мог не услышать. Провожать мать вышла только старшая сестра и подруга, которая должна была довести ее до самого конца – дома моего отца. В руках мама держала машинку «Зингер», сестра и подружка несли по одному чемодану с кокетливыми ремешками и застежками. Немецкое, как никак! Одета она была восхитительно. На ней была новая плиссированная юбка темного цвета, один из трех резиновых жакетов, фильдеперсовые чулки на ногах завершались изысканными резиновыми ботами, которые поблескивали своей новизной даже в тени приходящего вечера. Разумеется, все новое и трофейное. Мама осторожно пробиралась к машине, чтобы не уронить довольно тяжелую машинку и не запачкать свои замечательные калоши. Последний взгляд на отчий дом, скупая слеза, быстро прошептала: «Э, Аллах, Псимиллах», – перекрестилась и неторопливо села в машину. Так вот и начался первый вечер матери на пути к новой жизни, в которой ее ждали много лишений, драм, но

все это перекрывалось непосильными для обычного человека дозами любви, нежности, невероятных встреч и впечатлений от новых людей, которые стали неотделимой частью ее насыщенной и долгой жизни.

Сколько раз рассказывал эту историю, и все смеялись, и я вместе с ними. Особенно, когда доходил до момента, как свадебный кортеж, состоящий из машины скорой помощи, увозил ее в дом моего отца. Решил все так и описать – весело. А получилось грустно, и где-то, глубоко внутри, тепло и больно. Может быть, следующая история получится более веселой. К примеру, ставшая еще одной семейной легендой история о том, как бездетная вдовушка вскоре, всего в четыре приема, родила шестерых детей и воспитала в итоге десятерых, и, возможно, я еще когда-нибудь к этому вернусь.

19 мая - 22 мая 2008. Лыхны-Сухум



Вагид Мамедли

Родился в 1965 году. Культовый азербайджанский писатель, автор трилогии «Хроники Атропатены» и нескольких романов. С успехом печатается в России.
Живет в Баку.

Возвращение Будды

Капитан Масуд Ибрагимзаде посмотрел на цветную репродукцию дворца Тадж Махал, висевшую на стене рабочего кабинета. Воспоминания вновь унесли его в те далекие годы...
Берег реки Джамна. Жемчужина Индии, чудо высотой в семьдесят четыре метра, дворец Тадж Махал. Четыре небольших и один гигантский купол из белого мрамора на фоне синего неба выглядели особенно величественными. Со всех уголков мира в Индию приезжают миллионы людей, чтобы своими глазами увидеть это волшебство...
Девушка-гид с улыбкой на красивом лице рассказывала собравшимся туристам об истории Тадж Махала...

***

В рабочем кабинете зазвенел внутренний телефон. На другом конце провода был начальник Управления уголовного розыска:

– Будда, ты где?! – раздался его повелительный голос.

– Я не Будда.

–А кто же ты?

– «Я гора меж двух миров...»

– Что, опять перекинулся мыслями в Индию? Ты где пропадаешь? Грубое обращение начальника задело за живое, но он вспомнил, что скоро предстоит уходить на пенсию. Поэтому решил не обострять ситуацию:

– Начальник, я на своем рабочем месте. Вы позвонили в мой кабинет.

– Срочно зайди ко мне. И перестань цепляться за слова...

Кабинет начальника отстоял в пяти-шести шагах от его комнаты. В кабинете кроме начальника находились молодой следователь из прокуратуры и сотрудник управления Сафаров. Он прошел вперед, остановился возле Сафарова. Начальник вновь повысил тон:

– С господином следователем проведете обыск в доме женщины по имени Хадиджа. Помогите следователю. Будьте начеку, не дайте возможность Хадидже выкинуть какой-нибудь фокус. Мир еще не видывал такую мошенницу.

На Хадиджу не надели наручники. Как никак, это была женщина. Ее одноэтажный дом располагался внутри двора на пересечении улиц Инглаб и Хана Шушинского. Следователю прокуратуры было не

больше двадцати двух-двадцати трех лет. Следователь уселся за кухонный стол, достал из кожаного черного дипломата бумагу и ручку.
Участковый уполномоченный для участия в обыске в качестве понятых пригласил двоих соседей.

После разъяснения понятым их прав и обязанностей, следователь обратился к Хадидже, предложил ей добровольно сдать деньги, золотые изделия, имеющие значение для уголовного дела. Хадиджа ответила, что у нее нет ничего из перечисленного следователем и тогда тот дал указание приступить к обыску.

Пока молодой следователь занимался составлением протокола, Ибрагимзаде и Сафаров производили обыск. Вместе с понятыми Сафаров приступил к обыску в гостевой комнате. А Масуд прошел в спальню...

После долгого и безуспешного поиска он решил на всякий случай заглянуть за платяной шкаф. Как будто шестое чувство подсказывало ему, что за этим шкафом что-то скрывается. Со всей силой потянул шкаф, стоявший на расстоянии пяти-шести пальцев от стены. С трудом пробрался за шкаф, еще немного подтолкнул его вперед. Вдруг взгляд его натолкнулся на широкую четырехугольную щель в стене. Здесь он увидел белую наволочку, больше смахивавшую на мешковину. Торопливо развернул ее и обнаружил долларовые ассигнации.
Только хотел отнести наволочку следователю, как в комнату вошла Хадиджа. При виде того, что несет в руке Масуд, ее лицо приняло цвет белой наволочки:

– Только ты и мог что-то найти. Это я поняла, как увидела тебя. В наволочке пятьсот тысяч долларов. Как-нибудь спрячь деньги. Главное, чтобы следователь не внес их в протокол. Все мое состояние хранится в этой наволочке. Из этих денег сто тысяч я дам тебе, хватит до самой могилы. Видишь то окно, оно открывается во двор. Если бросишь туда деньги, они упадут между домом и забором. Никто ничего не узнает. К вечеру придешь и заберешь деньги. Возьми, это ключи от ворот дома. Ты никогда в жизни не заработаешь столько денег.

Масуд неприязненно посмотрел на Хадиджу:

– Но ведь эти деньги принадлежат обманутым тобой людям. Как можно жить на них?

– Будь умным. Такой случай больше не представится, – Хадиджа высокомерно откинула волосы со лба.
Чтобы завершить разговор, Масуд позвал Сафарова. Увидев деньги, Сафаров уставился на Хадиджу. Женщина сказала:

– Твой товарищ в погонах – безумец. Это деньги, о которых я

тебе говорила вчера, когда меня забрали в изолятор. Видишь, что он делает. Разве ты его не предупредил?

– Э-э, зачем он мне понадобился. Я говорил с начальником. И он поручил провести обыск обоим.

Затем Сафаров еле слышно пробормотал:

- Откуда было знать. Думали, разиня какая-то. Ведь и предположить не могли, что так быстро отыщет деньги в комнате.
Хадиджа опять устремила гневный взгляд на Сафарова. Тот нерешительно посмотрел на Масуда. Он понял, что хочет сказать Сафаров, поэтому покачал головой.

– Начальник не оставит тебя в покое, – бросил Сафаров.

Масуд молчал.

– Может, согласишься? Скорее, у нас мало времени. Каждую минуту может появиться следователь. Понятые тоже находятся в соседней комнате. Быстрее принимай решение.
Масуд направился к двери. А Сафаров сердито прошагал к окну:

– Хадиджа, ничего путного не выйдет, у него не все в порядке с головой. Хадиджа надвинулась на него своими большими грудями:

– Ладно, бери все, мне не нужно и ста тысяч. Но жалко. Не сдавай эти деньги.

Он прошел вперед, вынудив Хадиджу отступить в сторону. Масуд направился к кухне, где следователь составлял протокол. И вдруг услышал за спиной – «олух». Это слово Хадиджа и Сафаров, можно сказать, произнесли одновременно...

***

Громко захлопнувшаяся дверь заставила его проснуться. Вскочив на месте, посмотрел на маятниковые часы: они показывали без пяти одиннадцать. Торопливо протянул руку к одежде на табуретке. Второпях натянул брюки, почувствовал, как от волнения учащенно забилось сердце. Наверное, поднялось и кровяное давление. Не приведи Господи опоздать на работу...

Вдруг взгляд коснулся почетной грамоты на книжной полке. Прикусил губу, заохал. Немного успокоился. Лишь сейчас, увидев почетную грамоту, вспомнил, что со вчерашнего дня он – пенсионер. Почетный диплом, который он вставил за стекло книжной полки, подписал вчера начальник Управления уголовного розыска. За тридцать лет безупречной работы от имени министерства ему была объявлена благодарность. Сел на кровати, бросил на диван рубашку, которую хотел надеть. Но, кажется, его уход на пенсию пришелся совсем не по душе

жене Жанне. От громкого хлопанья дверью было видно, что Жанна вне себя от злости.

В глубине души он оправдывал Жанну. Какая жена согласится с тем, чтобы муж ушел с работы и сидел дома... Причем, в таком возрасте. Что такое для мужчины пятьдесят один год... Он не имеет права обидеть Жанну. А если ей вздумается уйти… Правда, Жанна весила не очень-то мало. Ее не отнесешь к категории красивых женщин. Однако, чем оставаться одному, лучше быть с Жанной. Неразумно как-то он поступает. Ведь давно уже простились с советским периодом. Открыты все границы. Надо было взять отпуск и махнуть в Индию. Найти там Каушари, которую никак не может забыть, и признаться, что вот уже столько лет без ума от нее. Сколько бы не прошло времени, в каком бы возрасте ты ни была, я люблю тебя, Каушари. Может быть, Каушари и не вспоминает о нем. Она в день видит сотни туристов. И все они приезжают из разных стран. Что ей до какого-то Масуда? Если бы не Жанна, то прямо сейчас собрал бы пенсионные деньги и как-нибудь подался бы в Индию. Но и с Жанной нельзя портить отношения. Скажут, как же так, Масуд Ибрагимзаде? Допустим, Зибейда не выдержала твоих бесконечных гонений за разными преступниками-ворюгами, доставки денег от зарплаты до зарплаты, полного неведения относительно дочери Сабины, полуголодного существования семьи и в один прекрасный день собрала все нехитрые пожитки и покинула дом: «Все твои ровесники – начальники. Денег куры не клюют. Разве у всех есть большие «дяди»? Нет, конечно, нет. Просто они не такие мямли, как ты. Несчастный ты человек. Днем и ночью торчишь то на одном, то на другом углу. Разъезжаешь по городам и весям. И все из-за того, что какой-то мерзавец находится в розыске. Конец квартала, конец года... Ты хоть один раз встретил Новый год в кругу семьи? Каждую новогоднюю ночь ты дежуришь по управлению. Ни разу не откроешь рот, не скажешь своего слова. Что, в управлении, кроме тебя, никого нет? Стыжусь кому-то сказать, что муж – капитан. Когда вижу молодых ребят – генералов, как я могу сказать, что мой бездарь не может получить даже звание майора. Генерала ему не видать вовек...»

Как же радовался Масуд, когда родилась Сабина. Дал себе слово, что вырастит ее самой счастливой на свете. Ведь она же девочка. Гостья в этом доме, когда-нибудь вырастет и переберется к мужу. Она не должна ни в чем испытывать недостатка, быть нежадной. Надо дать ей хорошее образование. Он дышал Сабиной. Считал, что эта дочурка самый большой пай, которым одарил его Всевышний. Какие же у него были прекрасные мечты, планы относительно Сабины. После расставания с Зибейдой ни на что не находилось времени, но он постоянно приходил к школе, где училась Сабина, чтобы увидеть дочь. Чувствовал, как девочка постепенно охладевает к нему. В первые дни, когда Зибейда забрала с собой Сабину, Масуд сильно тосковал, с рыданиями просыпался по ночам с именем дочери на устах. На суде заявил об оставлении квартиры за Сабиной. Здесь в свое время жили его родители. Примерно год он приходил к школе, чтобы встречаться с дочерью. В один из дней он чуть не столкнулся с Зибейдой, выходившей из кабинета его начальника. Как только она ушла, шеф вызвал его:

– Масуд, жена твоя жалуется, говорит, ты хочешь похитить ребенка. Настраиваешь ее против матери. Сказала, если еще раз встретишься с дочерью, она пожалуется в верхи, и тебя арестуют. Будь начеку. Твоя жена очень агрессивно настроена. Глаза ее прямо-таки извергают огонь.

После того события капитан Масуд Ибрагимзаде еще несколько раз приходил в школу для встречи с Сабиной, но было видно, что дочь избегает встреч с отцом. Когда он явился в последний раз, Сабина с ревом помчалась в классную комнату. Обескураженный, Масуд повернулся, чтобы уйти, но вдруг увидел Зибейду, стоявшую, заложив руки за спину в дверях школы. До сих пор он не может забыть оскорбительные слова, брошенные ему в лицо взбесившейся Зибейдой. С того времени не выветриваются из памяти ни презрение бывшей жены, ни его красавица Сабина. Масуд во всем старался найти утешение, однако не мог простить себе потерю Сабины. Это было самое страшное, что давило на него в жизни, отравляло все его существование. Зибейде удалось раз и навсегда оторвать от него Сабину. Даже если бы Каушари когда-нибудь подарила ему четырех дочерей или пятерых сыновей, то все равно они не сумели бы заменить Сабину. Это была незаживающая рана в душе Масуда. Сейчас рядом с ним не было ни Сабины, ни Зибейды. Рядом оставалась только Жанна.

***

Жанна Агафоновна Губанова продавала билеты в аэрокассе. Они познакомились, когда сын Жанны совершил убийство. Масуд был в составе оперативной группы, Жанну привели в отделение как мать преступника. Он пожалел полнотелую Жанну, часами ожидавшую, стоя в коридоре, вызова на опрашивание. Позвал ее в комнату, предложил сесть. Тут Жанна расчувствовалась, выплеснула все, что накопилось в душе, поведала о своей жизни. Рассказывая об Индии, Масуд видел, как Жанна внимательно его слушает, и проникся уважением к

этой грузной женщине. Не позволял другим полицейским обижать ее. Прошло несколько месяцев, и однажды Жанна позвонила ему на служебный телефон:

– Масуд, помоги мне. Эта стерва, я про свою дочь, обманула меня, заставила продать дом. Сказала, мама, давай продадим дом, уедем в Ростов. Продала, поехала. Там она вместе с мужем-алкашом забрала деньги, а меня выкинула на улицу, мол, отправляйся туда, откуда пришла. Масуд, ведь и аэрокасса закрылась. Сейчас никто никому и копейки в долг не даст. Боже упаси! Остается только бомжевать.
Вот такая история. Что делать?!

И тогда он привел Жанну в свой дом, сказал, пока оставайся здесь. Я тоже одинокий. Вначале займись уборкой. Потом что-нибудь придумаем. С того времени Жанна и живет с ним. Каждый раз уходит спозаранку, возвращается вечером. «Масуд, ищу работу. Смотрю, не открыли ли аэрокассу. Масуд, у тебя нет трех манатов? Верну, как только найду работу».

Из зарубежных стран он видел только Индию. Россия не в счет. Он окончил юридический факультет самого престижного вуза этой страны – государственного университета имени Ломоносова. Когда завершал учебу в средней школе, отец работал третьим секретарем районного комитета партии. После поступления Масуда в университет первый секретарь вызывает его отца и говорит:
- Да будет впрок! Поздравляю! Выделили одну путевку из международного туристического агентства «Спутник». В прошлом году мой сын поехал в Югославию. Остался очень доволен. В этом году отправь своего сына. Путевка в Индию.

Отец каждый день звонил в Москву, следил за его жизнью и учебой. Не хотел, чтобы сын ехал в Индию в качестве туриста, но ведь первый секретарь райкома не всем предлагает ехать в эту страну! «Нет, раз сказал первый секретарь... Я не могу отказать этому человеку. Пусть едет».Да, если бы не первый секретарь райкома, то не видать бы ему Индии. Индия – страна легенд и иллюзий. Их разместили в делийской гостинице из компании Holiday Inn. Рано утром на автобусах повезли в Тадж Махал. Вокруг зелень и волшебная красота...

Гидом была молоденькая девушка, ее будто выстрогали из слоновой кости. Она напоминала сириус,[1] описанный и воспетый в классической индийской поэзии. Ее глаза походили на глаза богини Варуны [2] На русском языке она говорила очень свободно, с приятным индийским акцентом. Когда гид начинала говорить, студенту юридического факультета Московского государственного университета имени Ломоносова Масуду Ибрагимзаде казалось, что она поет. Масуд будто погрузился в сон. В душе он боялся очнуться от этого прекрасного видения. Он хотел всю жизнь пребывать в этом сне. Но всему наступает конец. Вот это и есть любовь с первого взгляда – другого объяснения он не мог подобрать. Не знал, почему девушку уподобляет богине Варуне. И девушка была неравнодушна к рослому парню... Может, эту любовь благословили молитвы Джахан шаха и Мумтаз Махал, чьи беспокойные души парят над Тадж Махалом.

1. Дерево, на котором расцветает белый цветок из семейства бамбуковых.
2. Богиня Воды

– Меня зовут Каушари, - сказал девушка.

– Масуд...

Как сновидение, пролетели семь дней, проведенные в Индии. В индийских преданиях говорится, что человеческая жизнь – своеобразный сон. При расставании девушка готова была расплакаться.

– Жди меня, – сказал ей Масуд. – Обязательно жди меня. Последние слова он произнес прерывающимся голосом.

– Я... гора меж двух миров... буду ждать тебя... Возьми, это подарок моей мамы.

– Наверное, нет надобности...

– Это сурабхи , – улыбнулась Каушари.
Масуду показалось, что так может улыбаться только любящая всей душой девушка. Теперь он был уверен – Каушари будет его ждать...

***

Опираясь правой рукой на стену, он направился в прихожую. Открыл дверь, медленно зашагал к лестнице. Вспомнил, что не закрыл дверь на ключ. «Эх, а что там есть, кроме ломаной мебели»... Вернулся обратно. Закрыл дверь на ключ и пошел к ступенькам. Вышел из парадной, понял, что бессмысленно прогуливаться по двору, запруженному автомобилями. «Будет лучше, если пройду за здание. Там еще осталось пять-шесть деревьев». Раскачиваясь, тяжело передвигая ногами, он прошел за здание. Остановился возле небольшой рощицы. Стал глубоко дышать. Но сердце продолжало биться пуще прежнего. Чтобы не упасть, надо было опереться на стену здания. Но это показалось бы странным для окружающих. Лучше, если он пойдет к деревьям. Ступил два-три шага, увидел в рощице расставленные в ряд мусорные баки, и настроение испортилось вконец. Надо было на что-то опереться, поддержать неповинующееся тело. Кое-как приблизился к дереву. Хоть и ударил в нос смрад из мусорных баков, он, прислонившись к дереву, невольно вдыхал в легкие это зловоние от помоев, смешанное с запахом акаций.

Хорошо, что не было ветра. В последнее время и бакинский ветер будто изменился, стал человеконенавистником. Иной раз, если окно в автобусе чуть-чуть приоткрыть, пыль и песок от новых строений набивается в салон, так и норовит вонзиться в рот, глаза. Присел, задыхаясь от кашля. Чуть наступила передышка, привстал. И тотчас вздрогнул. По ту сторону свалки он увидел двух людей в китайских телогрейках. Они шарили руками в мусоре, доставали и складывали в свои потрепанные сумки продовольственные отходы и пустые бутылки. Вновь возобновился кашель. Эти двое перестали рыться в мусоре и посмотрели в его сторону. Вдруг один из них, более пожилой, пнул в бок другого и отошел на несколько шагов от мусорных баков. Вытащил руку и отступил прочь и ничего не понявший его спутник. Это были бомжи. Бедняги обитали на улице, добывая на пропитание собранными отходами от еды и пустыми бутылками из-под водки. У обоих дрожали посиневшие губы. Лицо их немного отливало цветом грибков на заплесневевшем хлебе.

Неожиданно, не двигаясь с места, заговорил пожилой бомж:

– Здравствуйте, Масуд муаллим. Вам что-нибудь нужно? Мы сейчас уходим и больше никогда сюда не вернемся.

Он немного удивился этим словам бомжа:

– Откуда ты меня знаешь? – спросил он.

Пожилой бомж слегка замялся, рукой зачесал редкие грязные волосы на затылок:

– Когда вчера мы пришли сюда, – он показал на второй этаж, – оттуда пожилая женщина крикнула нам: что вы там делаете? Роетесь в нечистотах, а потом вокруг распространяется зловоние. Вы проходили мимо. Женщина указала на вас и сказала: смотрите, идет Масуд муаллим. Он – полицейский. Скажу, и он арестует вас. Масуд муаллим, мы вчера покинули это место. Сегодня решили вернуться в последний раз, а потом найдем новую мусорную свалку. Мы сейчас уходим.

Он не знал, что сказать. Посмотрел на балкон и окна второго этажа квартиры, на которую указывал пожилой бомж...

Спустя некоторое время обернулся к нему:

– Эта женщина ошибается. Я уже не полицейский. Пенсионер.

Бомж обогнул мусорную свалку, побежал в сторону строения, где находился электрический трансформатор. Притащил оттуда старый стул с выцветшей краской, найденный, наверное, на этой же свалке.

– Садитесь, Масуд муаллим, не стойте, – буркнул бомж. Посмотрел в сторону молодого товарища по несчастью. – Пора идти, сейчас выйдет эта женщина со второго этажа, опять начнутся вопли. Нехорошо при Масуд муаллиме. Масуд муаллим, мы к вашим услугам. Мы больше не придем сюда. Меня зовут Гусейн, а это Фатех, татарин, – он собирался уйти.

Капитан глубоко вздохнул. Сердце уже не напоминало о себе. Взбодрившись, он встал на ноги. Почувствовал, будто крылья у него выросли.

– Куда вы сейчас пойдете? – спросил он Гусейна.

Тот ответил:

– Масуд муаллим, мы сегодня собрали очень мало бутылок. Не хватает даже на одну «чекушку». Пойдем, посмотрим, может, повезет на другой свалке.

– Хорошо, бросайте ваши сумки и следуйте за мной, – он взял стул и прислонил его к дереву. – Пусть это останется здесь, пошли.

Пожилой бомж потупился:

Масуд муаллим, прошу вас, не забирайте нас в полицию, все равно мы хотели уйти.

– Э-э, сказал же вам, я пенсионер. Идем ко мне домой, ступайте вперед.

***

С новогоднего вечера в холодильнике оставалась непочатая бутылка водки «Хан». Он выложил на стол бутылку и несколько мандаринов:

– Сейчас согреется и борщ. А вы пока проходите по одному в ванную комнату и искупайтесь. Одежду соберите в эту сетку, потом выкинем на свалку.

Открыл платяной шкаф, вытащил и протянул Гусейну вешалку со старым костюмом и рубашкой.

– Масуд муаллим, я не могу это взять. Раньше все бомжи оставались в пустом тупике возле гостиницы «Азербайджан». Когда ее снесли, стали собираться во дворе новой стройплощадки напротив порта. Если я пойду туда в этом костюме, то его ночью украдут и променяют на бутылку водки.

– Ладно, еще подумаем, где будете оставаться ночью. А костюм твой, бери.

Фатеху протянул свитер и брюки:

– Переодевайся в это.

Гусейн и Фатех по очереди прошли в ванную комнату, помылись, сменили белье. Масуд собрал отдающую нестерпимой вонью

старую одежду в полиэтиленовую сеточку, открыл дверь квартиры и спустил все это по мусоропроводу. Вздохнул полной грудью, прошел в комнату. Вернувшаяся вечером домой Жанна была бы в недоумении, увидев Гусейна и Фатеха в лохмотьях...

С удовольствием уплетавший вчерашний борщ Гусейн потянулся к рюмке:

– Масуд муаллим, разрешите выпить за ваше здоровье. Не могу найти слов, чтобы выразить благодарность за внимание к нам такой авторитетной личности как вы, занимающей высокую должность в органах внутренних дел. За вас, Масуд муаллим!

Масуд хотел прервать Гусейна и еще раз напомнить ему об уходе на пенсию со вчерашнего дня. Но когда услышал, что и Фатех присоединился к здравице Гусейна, решил промолчать. Настроение улучшилось. Усталость, накопившаяся за многие годы, как будто только сейчас покидала душу. А Гусейн уже рассказывал о своем изгнании из Академии наук, где он когда-то трудился, причинах того, почему он оказался безработным и бездомным. Масуд слушал грустное повествование Гусейна, однако мысленно пребывал в далекой Индии.

Масуд очень часто задавал себе один вопрос: почему именно Индия? Например, почему его не околдовали ни Греция, ни Париж, а именно Индия?

Вечно жаловавшийся на свою судьбу Масуд так отвечал на этот вопрос. Видать, на роду ему была написана Индия. Если бы в то время первый секретарь райкома вручил бы его отцу путевку не в Индию, а, скажем, в Карловы Вары, или Хорватию, то жизнь Масуда Ибрагимзаде, наверное, сложилась бы совсем иначе. Кто знает, может, увиденное и пережитое в этих странах коренным образом повлияло бы на его судьбу. Вот такие дела. Чем ломать голову над этим, лучше воскресить в памяти прекрасное лицо любимой Каушари. Но он вновь упрекнул себя. Эх, пять лет проучился в Москве, всю жизнь прожил в Баку, неужели не мог здесь найти свое счастье, чтобы сейчас не пылать любовью к Каушари? Вспомнил всех женщин, которые ему нравились после Каушари. Но их образ затмевали красивые глаза индианки... Если бы не учеба в Москве, не поездка в Индию, возможно, и жизнь его сложилась бы как у других...

В дверях показалась Жанна. Она торопливо сняла туфли, мельком посмотрела на Масуда. Увидев улыбающегося мужа, Жанна не могла скрыть удивления. Давно уже Масуд не выглядел таким веселым и жизнерадостным. Жанна сделала кислое лицо:

– Кажется, уход на пенсию доставляет тебе удовольствие, – затем язвительно добавила – Будешь смеяться, когда сдохнешь безработным.

Масуд приложил к губам указательный палец:

– Шшшшш, у нас гости.

Жанна прошла на кухню, поздоровалась с гостями. Если бы не спадающие до плеч волосы Гусейна и борода Фатеха, то, наверное, Жанна подумала бы, что это бывшие коллеги Масуда.

Однако Масуд недолго оставлял Жанну в неведении, он представил Гусейна ученым, а Фатеха чемпионом мира восьмидесятых годов, назвав их своими лучшими друзьями. Оказывается, последним местом работы Фатеха был институт физической культуры.

Жанна переоделась в спальной комнате, вернулась на кухню, вытащила из холодильника колбасу и сыр, стала их аккуратно нарезать на столе возле газовой плиты. Тарелку с едой поставила перед мужчинами:

-Масуд, ведь вы пьете водку, а от одного борща сытым не станешь.

Взяла приготовленный для себя бутерброд и прошла в гостиную комнату. Чувствовалось, что Жанна далеко не в восторге от неожиданного появления давнишних друзей Масуда. Вскоре из гостиной послышался звук телевизора. По-видимому, Жанна смотрела какой-то бразильский сериал.

Гусейн равномерно разлил по рюмкам водку, оставшуюся на дне бутылки.

– Масуд муаллим, разрешите выпить за здоровье вашей супруги, – с этими словами он опрокинул содержимое рюмки. Положил кусочек колбасы на хлеб и стал с чавканьем есть.

Встал Фатех и напомнил, что уже пора идти. Гусейн взял еще колбасы, с аппетитом стал есть. Затем привстал:

– Масуд муаллим, разрешите нам уйти. Даже не знаю, как благодарить вас.

Масуд тоже поднялся. Фатех и Гусейн одели туфли и вышли в общий коридор. Гусейн немного поколебавшись, сказал:

– Масуд муаллим, было бы неплохо, если бы вернули нашу старую одежду. Я и Фатех благодарны вам. Но если другие бомжи увидят нас в этом одеянии, то до утра оно исчезнет бесследно, да и нам не дадут спокойно поспать.

Капитан думал недолго:

– Сейчас вернусь, – бросил он и прошагал в комнату. Вытащил верхний ящик шкафа в коридоре, порылся в нем, достал какие-то клю-

чи и через дверь комнаты вновь вышел в общий коридор. Посмотрел на Гусейна и Фатеха:

– Идите за мной.

Масуд, а вслед за ним Гусейн и Фатех, вышли во двор. Стояла середина осени, но в Баку в этот день было холодно и морозно. Масуд быстрыми шагами шел к гаражам, выстроившимся рядами возле дома. Подошел к железному гаражу посередине, попытался открыть дверь ключом. Замок покрылся ржавчиной, и ключ с трудом вошел в скважину. Масуд толкнул рукой дверь гаража и повернул ключ. Когда дверь со скрипом поддалась, Масуд с помощью зажигалки нашел включатель и зажег свет.

У Масуда никогда в жизни не было автомобиля. После развода с Зибейдой и переезда в дом родителей, он крайне редко открывал дверь гаража. Поэтому со всех сторон гараж покрылся слоем пыли в ладонь, а потолок, можно сказать, скрылся под густой паутиной.

Внутри гаража не было ничего, кроме видавшего виды запыленного дивана и двух-трех поломанных стульев.

Масуд повернулся к Фатеху:

– Пойдем со мной в квартиру, принесем пару ведер воды, здесь надо произвести уборку, – потом призадумался. – Мне кажется, что вам нет надобности куда-то идти. Можете оставаться в гараже.

В тот вечер Гусейн и Фатех очистили гараж от пыли и паутины, а ближе к полуночи разложили диван и предались сладкому сну. Масуд оставил их и поднялся в квартиру. На ступеньках явственно ощутил, как гулко бьется сердце. Так было всегда, когда он пил водку. Кажется, еще чуть-чуть, и сердце выскочит из груди. Схватился за перила, перевел дыхание. Но уже было поздно. Войдя в квартиру, он сразу бросится на свою постель. Наверное, так и завершится этот день, прошедший без каких-либо напастей...

Вошел в квартиру, закрыл дверь изнутри. Жанна уже была в кровати, поэтому слабый свет мерцал только в коридоре.

Разделся, лег в постель. Жанна уже храпела. Повернулся на бок. Приставил свободную руку к уху, постарался заснуть...

***

...Кажется, это была Индия. Во сне иной раз не все представляется в истинном свете. Нет, это действительно Индия. Женщины в разноцветных сари, мужчины в белых одеждах. Все они скопились вокруг сложенных в груду дров. Что здесь происходит? Кого хоронят? Старый жрец на хинди произносит молитву, затем человек с горящим факелом

в руке поджигает дрова в нескольких местах. Вскоре труп в белом начинает ярко гореть.

Отделившись от толпы, к нему подходит пожилая женщина. Долго смотрит на него укоризненным взглядом, затем спрашивает:

– Ты Масуд?

– Да!

Пожилая женщина трясет его за ворот:

– Умерла Каушари! Умерла, тоскуя по тебе. А ты так и не стал мужчиной. Не сдержал данного слова. Зачем явился только сейчас. Уже поздно! Убирайся!

Она вернулась к месту, где полыхал огонь, смешалась с людской толпой.

Боже мой! Женщина, трясшая его за ворот, была матерью Каушари. Каушари, тело которой сейчас горело в огне. Той самой Каушари, по которой он сокрушался столько лет! Однажды не смог приехать из-за боязни перед начальником. Несколько лет не предоставляли отпуска. В другой раз подумал, что если узнает Зибейда, то превратит жизнь в пытку. Потом стыдился соседей и родственников...

Легкий дым от потрескивавших дров медленно возвышался в небо. В слое дыма, напоминавшем скученное облако, отчетливо показалось лицо Каушари. Будто ее черные печальные глаза хотели кого-то увидеть. Вдруг взгляд Каушари остановился на нем. В глазах девушки отразилась неизбывная тоска. Казалось, она подавала ему знак рукой:

– Масуд! Масуд! Иди... Иди... Иди...

***

– О Господи, помилуй! Боже мой! – на отчаянные крики Жанны вскоре сбежались соседи из квартиры напротив. Как ни старалась Жанна, Масуд, оставался неподвижным, не подавал признаков жизни...

Врач бригады «скорой помощи» проверил пульс, послушал сердце.

– Да ниспошлет Аллах вам здоровье, ханум. Он скончался. Да упокоит Всевышний его душу,–- врач взялся за ручку своей сумки и заторопился к выходу.

Спустя небольшой отрезок времени еще не пришедшая в себя Жанна осталась наедине с телом Масуда. Соседи отправились в свои квартиры. Уходивший последним сосед сказал:

– Жанна, уже поздно. Надо хоронить мужа. Позвони его родственникам.

Потерявшая голову Жанна с трудом поднялась на ноги. Ее бил озноб. Она все никак не могла оправиться от потрясения. Подошла к телефону. Подняла трубку. Кому звонить? Она не знала никого из родственников или друзей Масуда. Может, узнать у соседей номер телефона его бывшей жены Зибейды и как-нибудь звякнуть ей. Сказать, знаешь, милочка? Позаботься в последний раз о муже. Как-никак вы жили вместе десять лет! Но нет, Зибейда даже слушать ее не станет…. Спустилась во двор. Было раннее утро, и автомобили со стоянки в центре двора, заработав моторами, поочередно выезжали на улицу. Люди спешили на работу. Вдруг у входа в железный гараж на правой стороне показались Гусейн и Фатех. Заметив друзей мужа, Жанна стремглав бросилась к ним:

– Вы... Это вы? Что здесь делаете?

- Масуд муаллим разрешил нам оставаться в гараже. Да воздастся ему по заслугам! Да дарует ему Аллах здоровье!

– Умер ваш Масуд муаллим, скончался! Поднимайтесь наверх. Его надо похоронить.

Недоумевающие Гусейн и Фатех посмотрели друг на друга. Вслед за Жанной покорно двинулись в сторону дома.

– У него нет никого. А я пойду искать деньги. Его надо хоронить, – с этими словами Жанна вышла из квартиры.

В тот день Жанна не вернулась. Оставшись в комнате с трупом, Гусейн и Фатех тщетно прождали ее до глубокой ночи. Часы показывали половину третьего. Жанна так и не появилась. Гусейн и Фатех спустились во двор, прошли за здание. В этот день Гусейн и Фатех перерыли несколько мусорных свалок в городе, сдали в приемный пункт собранные пустые бутылки из-под спиртного. Когда сгустились вечерние сумерки, обессилевшие бомжи примостились на скамейке возле одного из пунктов по приему стеклотары. За собранные бутылки они получили всего-навсего тридцать манатов. Гусейн посмотрел на три десятиманатные ассигнации и тяжело вздохнул:

– Фатех, пойди в мечеть и узнай, во сколько нам обойдутся похороны мужчины?

Фатех ахнул:

– Гусейн, ты знаешь, сколько стоят лишь мойка и похороны? Я еще не говорю о поминальной церемонии. Знаешь, сколько стоит одна палатка?

Выходит, на имеющиеся деньги мы никак не можем его похоронить?

– Нет, Гусейн. Вот послушай меня. Обмыть и завернуть в саван

– 50 долларов, гроб – 40 долларов, рытье могилы – 150 долларов, а ведь еще надо получить место на кладбище. Лишь то, что я перечислил, уже стоит 280 долларов.

– Да, много. Это нам не по зубам.

Глаза Фатеха заблестели, он поднялся со скамьи:

– Гусейн, а может, попробовать похоронить его по-христиански. Скажем, жена русская. И он когда-то принял христианство. Смотри, обмыть – 60 долларов, одежда – 60 долларов, гроб – 100 долларов, рытье могилы обходится дешевле – 100 долларов, катафалк

– 40, всего – 360 долларов.

– Да нет, получается дороже, чем у нас. А как, интересно, в синагоге?

– А где находится синагога?

– В еврейском квартале.

– Ничего невозможно сделать. По-твоему, выходит, что мы должны сжечь его тело.

– Ты пошути еще... Давай предадим тело огню. Скажем, что он всегда говорил об Индии. Оказывается, он принял буддизм. А перед смертью завещал, чтобы его тело сожгли.

– Нет, Фатех, нет. Ведь он достоин быть похороненным как нормальный мусульманин. Даже не знаю, что делать...

– Хорошо, пойдем. Посмотрим, пришла ли Жанна.

Бомжи вошли в квартиру. Жанны все еще не было. С утра были открыты настежь все окна, балконная дверь, и теперь в комнате стоял леденящий холод. Весь день они находились на ногах и потому сильно устали. Гусейн прилег в спальной комнате, а Фатех разместился в гостиной. Но, несмотря на усталость, не могли сомкнуть глаз. Гусейн лихорадочно размышлял:

«Этот Масуд муаллим тоже нашел время умереть. Вчера радовался, что наконец-то нашелся человек, который протянул нам руку помощи. А что будет теперь, одному Аллаху известно. Наверное, Жанна выставит нас из гаража. Эхxx... Масуд муаллиму уже все равно. Он хоть скончался в своей теплой постели. А где отдадим концы мы, никому не ведомо...» Гусейн не мог знать, о чем думает Фатех. Но он твердо был уверен, что не заснет, пока не примет хотя бы сто граммов водки. Позвал Фатеха. Тот немедля зашел в комнату.

– Послушай, - сказал Гусейн, - с нашими деньгами мы все равно не сумеем похоронить мужика. Беги, купи бутылку водки, немного хлеба и колбасы. Иначе от холода и бессонницы околеем до утра. Фатех будто только и ждал этих слов Гусейна. Проворно вскочил с места:

– Ты прав. А то замерзнем здесь.

Фатех вышел в коридор. Нацепил туфли, направился в ближайший маркет. Вскоре вернулся и выложил на кухонный стол две бутылки водки «Хан», дешевую колбасу, отдающую запахом картона, и залежавшийся с утра на прилавке хлеб. Услышав скрип входной двери, Гусейн прошел на кухню.

Зазвенели до краев наполненные водкой стаканы.

– Пусть земля ему будет пухом, – выпили, еще раз наполнили стаканы.

После двух бутылок спиртного еще больше дала о себе знать накопившаяся за день усталость. Шатаясь от тяжести в ногах, Гусейн бросился на диван в комнате, где лежало тело Масуда.

Фатеха знобило от холодного воздуха, проникавшего на кухню через открытое окно. Кажется, в этот день он еще и простудился, все тело ныло. С трудом двигая ногами, поплелся к дивану в гостиной комнате. Краем глаза увидел возле серванта электрическую печь с оголившимися спиралями. Включил аппарат и поставил его возле стула у изголовья дивана. Чтобы печь давала побольше тепла, повернул ее на спинку и протянул руки к спиралям. Сильное утомление и жар, согревающий простуженное тело, убаюкали его. Уже спросонья он снял и швырнул на стул свитер, подаренный ему Масудом. Однако одурманенный усталостью и водкой Фатех вместо стула бросил свитер на спирали электрической печи...

***

...Безмолвную тишину ночи нарушил тревожный вой пожарных автомашин. Жители дома в панике метались по двору. С треском горела квартира Масуда Ибрагимзаде, тридцать лет проработавшего в органах милиции и полиции. Пожарные с огромным трудом извлекли из огня его обугливший труп. Языки пламени из его квартиры ярко освещали весь двор...

. ..Бог огня Агни улыбался...

Февраль, 2010

Авторский перевод с азербайджанского

Родился в 1954 году. Прозаик, тележурналист, актер. Автор нескольких сборников рассказов и романов, в том числе «Живем как можем», «Было лето воскресенье», «Дайте мне жить», «Пришедшему из ада вопросов не задают», »Посети ангела в полночь». Лауреат литературной государственной премии имени Егише (1999 , 2005), а также лауреат премии имени Мурацана (2004, 2010).

Живет в Степанакерте

Опустошая очередную рюмку, мужчина на миг взглянул сквозь хрустальное стекло на сидящую напротив женщину и улыбнулся. Увидев искаженное жидкостью лицо и уловив удивленный взгляд, он ласково произнес:

– Ты восхитительна.

Она и в самом деле была восхитительна. Золотистые волосы спадали на плечи, два красивых локона висели на щеках, придавая лицу неизъяснимую грусть, отчего она становилась трижды желанной. Шея была открытой, белой и тонкой. Вместе с движениями женщины покачивался крестик на золотой цепочке, порой поблескивая.

От произнесенного глаза женщины засияли. Глаза ее также были красивыми, страстными. Сейчас это было лучше видно: желтоватый свет стоящего у дивана торшера освещал в основном ее лицо, распространяя теплую мягкость там, где они вдвоем ужинали. Появляющиеся на экране мужчины и женщины не нарушали своим присутствием их блаженство.

Пока мужчина опустошал рюмку, женщина положила ему в тарелку кусок жареного куриного мяса и картошку вместе с соусом. Она пила ликер «Амаретто» с шоколадом. Не пила, а смаковала: умп, умп. Мужчина пил водку. «Абсолют» был уже почти наполовину опорожнен, но желание пить еще было. Он не впервые был здесь, и к подобным вечерам ему было не привыкать. А сидящая напротив ангелоподобная женщина не раз отдавалась ему, доставляя каждый раз непередаваемое удовольствие. И все же, сегодня все было по-другому, необъяснимо, ново. Быть может, причина заключалась в том, что он мог проникнуть сюда лишь с наступлением темноты, как тень, а значит, все для него было дорого, уникально. Ведь была осень, вечерний ветерок колебал кроны деревьев, и одна из веток, мерно касаясь стекла террасы, уже вызывала волну сладострастия в его душе. А может, причина была в том, что его любовницей являлась эта ангелоподобная женщина, и ужин с ней, ее ложе с ароматом розы бывали в его жизни не часто, от случая к случаю, становясь каждый раз праздником?

Он опорожнил еще одну рюмку, выпив за их дорогую, трудную любовь. Она наградила его лаской, мастерски выпила ликер, не повредив помады.

По телевизору шел концерт. Музыка располагала. Он поднялся

и взял ее за руку. Это было приглашением к танцу. Женщина упала в его объятья.

На ней был пестрый атласный халат, длиннополый, с расстегнутым низом.

Мужчина ощущал своими ладонями знакомое сочное и упругое тело под халатом. При движении бедра женщины касались его ноги, как ветка терлась о стекло окна, и огонь раздувался раньше времени. Он погрузил свое лицо в ее золотистые волосы, и аромат их превращался в блаженство, заставляя забывать все, весь мир, в том числе себя... Несколько раз поцеловал обнаженную шею ангела. Распаляясь, он стал искать ее губы, но ангел воспротивилась.

– Потом, – прошептала она.

По завершении танца вернулись на свои места. На миг воцарилась тишина. Он сначала налил ей. Ему нельзя было так много пить – сердце у него было больное, однако хотелось насладиться этим вечером по-королевски, целиком, до дна, потому что такой праздник может представиться ему еще не скоро. Тем более что каждая мелочь здесь располагала к одному – наслаждению, что по-другому называется счастьем. А таких случаев можно сосчитать на пальцах одной руки.

Она положила свою ладонь на его руку.

– Ты доволен? – произнесла она так, как во время танца.

Он поцеловал ей ручку.

– Ты можешь представить свою жизнь без меня? Я не могу.

– Нас ничто не может разлучить, – ответил он, разделил яблоко и положил одну половинку женщине в ладонь.

Она усмехнулась.

– Вот если бы все устроилось не так...

– Ты о чем?

– О нашей жизни.

– Не драматизируй. Об этом уже не стоит говорить.

– Я люблю тебя, Ваге, без тебя все бессмысленно... Завтра или послезавтра он приедет (она имела в виду мужа, который занимался торговлей и находился в Ереване по делам). Не хочу, чтобы этот вечер кончился, – женщина наклонилась в сторону мужчины, и в разрезе халата показались пышные белые груди, похожие на спелые яблоки.

– Не двигайся, – произнес мужчина и приблизил лицо к обнажившемуся ароматному яблоку.

– Безумец, – прошептала она, обняв его голову. – Если больше не хочешь кушать, поставлю кофе.

Встала, пошла на кухню. Оставшись один, мужчина закурил.

По-королевски. Выдыхая дым, наклонил голову назад, почти тут же заметив позади себя большой портрет мужчины, глядевшего на него со стены.

Хотя он видел этот портрет не первый раз, встал, будучи в хорошем настроении, и, стоя, некоторое время рассматривал его. «Лопух», – пронеслось в голове, пока выдыхал дым в сторону стены. Синеватые клубы дыма в один миг накрыли глядевшего из рамы, словно для того, чтобы не увидел, как его жена плавно вошла внутрь, положила поднос с кофе на стол и, обняв все еще стоящего мужчину, прошептала с умилением:

– О чем ты думаешь?

– Ты любила меня, а вышла за него...

– Теперь мне сказать: не драматизируй? – произнесла она и потянула его за рукав, приглашая садиться.

На телеэкране танцевали полуголые девушки. Ваге пил кофе, не отрывая глаз от телевизора. Женщина смотрела на него испытующе. Терпение лопнуло.

– Алло... забыл меня? – упрекнула она.

– О чем ты?.. Ты незаменима.

– Мне верить?

– Иди ко мне, – он протянул руку.

Женщина села ему на колени. Когда она закидывала ногу на ногу, обнажилось бедро – белое и тугое.

– Не хочу, чтобы кончилась эта ночь, – прошептала она и поцеловала его. Знакомый вкус помады вызывал головокружение. Мужчина положил руку на обнаженное бедро, чтобы удвоить удовольствие. Немного спустя рука пошла вверх, войдя под халат. Пальцы поймали шелковые трусики.

– Ы-ы... – произнесла она, перестав целоваться, – не балуйся.

– Больше не могу терпеть.

– Ой, ой, – произнесла она шаловливо и встала. Выключила телевизор: передачи уже завершились. Включила магнитофон.

– Не скучай. А я зайду в ванную.

Шарль пел о богеме. Ветка опять терлась о стекло, издавая шорох. От этого шороха ожидаемое удовольствие превращалось в наслаждение. И он уже решил, что будет происходить чуть позже, в какой позе и как ангел будет вести его к вершине наслаждения.

Переместился на диван, погрузился в него, раскинув руки. Прикрыв глаза, слушал Шарля, с нетерпением ожидая появления ангела. «Жаль, что счастье дается человеку по щепотке, – подумал он в блаженстве. – Но нет, в противном случае человек сошел бы с ума».

Магнитофон замолк, Шарль переводил дыхание. Он раскрыл глаза, вздохнул с шумом. Наверное, сидел в неудобном положении: в желудке неожиданно кольнуло, затем почувствовал тяжесть. Отрыгнул и, кажется, полегчало. Почти в тот же миг дверь ванной открылась, и появилась ангел с до конца расстегнутым халатом. Едва желтоватый свет коснулся ее обнаженных частей, как она улыбнулась: я готова. И халат сполз вниз. Как тут устоять?! Груди, не кормившие ребенка, упругие, готовые к тому, чтобы их тискали, напряженные от жажды этого, теснились под лифчиком. Свет ласкал гладкий живот и бедра, а влажный пушок под животом прилип к шелковым трусикам, напоминая розу за тюлевыми занавесками. В иной раз Ваге непременно встал бы на колени перед ангелом, осторожно опустил бы тюль, чтобы вкусить усладу розы, но беспокойство от испытаннной минуту назад боли не проходило, разрушая храм блаженства.

На миг ангел застыла в изумлении от безучастности возлюбленного.

– Хочешь помыться? Есть вода, – сказала и, подняв с пола халат, вошла в спальню.

Ваге обожал ее опрятность, в особенности перед тем, как лечь в постель. Виолетта делала все ради блаженства, давала вкушать себя целиком, без остатка, и ночь становилась неповторимой, жизнь – сладкой...

От тепловатого воздуха ванной он снова испытал неприятное чувство. Казалось, не хватало кислорода. В один миг у него даже промелькнула мысль оставить все это и удалиться. Но нет. Потом не сможет взглянуть в глаза ангелу, больше не будет «потом»... Осмотрел в зеркале свое лицо, язык, хотя ничего в этом не смыслил. «Все нормально», – подумал он, скорее чтобы успокоить себя. Хмель почти уже прошла, оставив после себя пустоту.

Он тоже принял душ. Теплая вода была приятной, стало легче. Хотя все еще дышалось тяжело, однако он отогнал от себя неприятные мысли.

– Виолетта, – позвал он, выходя из ванной.

– Выключи свет.

Одежду он бросил на диван, оглянулся на стол, не стерпел: налил рюмку водки, скорее в надежде вернуть прежнее настроение. Поднял глаза вверх. «А ты охраняй нас», – пробормотал он и проглотил водку. Пока он выключал торшер, водка разлилась по всему телу, сметая последнюю кроху противного чувства.

Полулежа, Виолетта читала под лампой с абажуром.

– Мне казалось, что ждешь меня, – сказал Ваге, снимая трусы для того, чтобы завоевать ее внимание.

– Пока ты согреваешься, я мерзну, – произнесла Виолетта иносказательно, отложила книгу. Между тем от ее взгляда не ускользнуло то, что всегда восхищало ее.

Ваге поднял край одеяла, чтобы войти в постель, однако свет ворвался внутрь чуть раньше, продемонстрировав высвобожденные из лифчика и ожидающие его груди с уже торчащими в предвкушении сладострастия сосочками, а также розу, освободившуюся от тюля.

– Хоть бы свет погасил, – прошептала ангел и сама же выключила.

В темноте огонь разгорался быстрее, становился костром, охватывая пламенем прошлое, настоящее, обыденные заботы, мир в целом. Ангел погружалась в нирвану в самом конце, когда огромный мужчина сжимался в комок, валился на нее своим обессилевшим, утомленным телом, уже беспомощно хватаясь за ее ангельское тело, трясясь еще некоторое время, словно задыхающаяся рыба, и орошая розу... Это означало ее победу, очередную победу.

Потом незаметно наступал покой, бурю заменяла зыбь. В такие минуты она каждый раз спрашивала спросонья:

– Когда уйдешь?

– Останусь еще... – то есть зыбь была кажущейся, временной.

Однако сейчас мужчина повернулся на спину раньше времени. И никак не успокаивался. Дышал шумно, тяжело. Пару секунд спустя, он вдруг вскочил, сел на месте, застонав вместе с усилившейся одышкой.

– Что с тобой? – опешила Виолетта, раскрывшись.

– Сердце...

Еще ничего толком не понимая, она включила лампу.

От пота спина мужчины блестела.

– Ваге...

Ваге лишь застонал, жадно хватая ртом воздух.

– Что с тобой?.. Боже мой, – растерянная от неожиданности и явно перепуганная, Виолетта потрясла его за плечо. – Скажи, что мне делать?..

– В кармане моем... склянка... – и снова застонал.

Виолетта поспешила голышом на террасу. От растерянности даже не догадалась включить свет. В темноте она ворошила карманы брошенной на диван одежды, в спешке переворачивая несколько раз

один и тот же карман и повторяя: «Куда запропастилась, проклятая?» И не нашла то, что искала. От этого еще больше переполошилась. В таком состоянии вернулась в спальню:

– Нету... – непроизвольно произнесла она, глядя на лежавшего на подушке Ваге.

Остальное он не услышал. Нитроглицерин был единственной нитью надежды, за которую он крепко цеплялся, лелея надежду спастись, ибо смерть была ужасно близка, а под ногами – пропасть. И теперь произнесенное без обиняков единственное слово было приговором, означало гибель. Он мучительно застонал и от ужаса смерти с мольбой посмотрел на Виолетту: сделай что-нибудь... А что ей делать, если дома ничего нет? По взгляду женщины он все понял и ахнул.

– Ничего, дорогой, сейчас все пройдет, – она села на край кровати, поправляя изголовье мужчины и утешая его.

– Не волнуйся... Слышишь? Поверь, сейчас пройдет...

– Нет, мне очень плохо, Виолетта... умираю... – слова выходили с трудом, поодиночке.

– Ваге, дорогой, не говори такие вещи, я боюсь.

Он, щупая поверхность одеяла, нашел ее руку, схватил. Его рука была холодной, и она стала лихорадочно растирать ее. Однако мужчина, который лучше понимал свое положение, прошептал:

– Оставь... вызови «Скорую помощь»...

– Сейчас, – женщина невольно встала, но тут же замешкалась и, то ли для того, чтобы выиграть время, то ли лишь сейчас почувствовала, что мерзнет, стала искать халат. Нашла, набросила на голое тело, решая за это время, как дальше быть. Вызывать «Скорую» было невозможно. Что завтра скажет соседям, людям, миру? Ведь в этом проклятом городке все друг друга знают. Она не сумела отвести свой взгляд от молящих глаз мужчины, однако произнесла:

– Ваге, дорогой, может, потерпишь еще немного? Поверь, цвет лица, пульс у тебя в порядке...

– Виолетта... – это были мольба, упрек, разочарование и еще много-много чего.

Женщина вышла на террасу, зажгла свет и стала ходить в растерянности взад и вперед, не спеша подойти к телефону. «Ведь пройдет», – едва сдерживая слезы, говорила она себе, ломая пальцы. Однако услышав его мучительный стон, подошла к телефону, сняла трубку и набрала 03.

– «Скорая помощь», – она услышала сонный женский голос.

– Алло, «Скорая»? – произнесла она в ответ, комкая слова.

– Да, слушаю вас... алло... алло... ту-ту-ту... – в трубке словно стало биться сердце, и лишь сейчас Виолетта громко произнесла свой адрес. Потом неспешно положила трубку на место и, помедлив немного, вошла в спальню.

– Потерпи немного, дорогой, скоро приедут, – однако она отвела глаза от его застывшего взгляда.

– Эх!.. – застонал мужчина. Через миг он схватился правой рукой за грудь. То ли от боли, то ли от обмана или разочарования ему показалось, что вдруг на грудь ему положили раскаленное железо, сердце тут же сжалось, и мужчина с воплем резко оторвался от подушки, но не успел сесть – обессилев, обратно упал на место, охнул и остался неподвижным. Ангел, стоявшая перед ним, за это время поспешно удалилась, скрылась из глаз. Нет, это он плавно удалялся, а вместо ангела его две дочки бежали за ним, крича: «Папа, не уходи!» Однако он не отвечал. Дети постепенно отстали и растаяли во мгле. А мгла сгущалась и сгущалась, превратившись в мрак...

– Ваге, Ваге... – это не дети, а Виолетта звала его, трясла.

Тем временем он продолжал смотреть, не мигая глазами, с полураскрытым ртом, безучастный. Еще не осознав до конца произошедшего, она продолжала свое, непрерывно повторяя: «Ваге, Ваге, дорогой, ты слышишь меня?..»

От бессилия, тщетных усилий она все больше и больше впадала в панику, никак не могла осознать реальность. Даже положила голову мужчине на открытую грудь, задержала дыхание. В следующий миг она нервно откинула назад прядь волос и снова приложилась ухом к нему. У нее появилась надежда, внутри поднялась какая-то теплая волна, горло сжалось, и на глазах выступили слезы радости.

– Ваге, душа моя... Ваге, очнись... – повторяла она с мольбой в голосе, легонько шлепая его и лихорадочно потирая его холодеющие руки, ступни, не понимая, что чуть раньше она услышала всего лишь биенье собственного виска.

Однако немного спустя, то ли обессилев, то ли от того, что искра радости еще не успела потухнуть, она побежала на террасу, сняла трубку, набрала номер «Скорой помощи», но передумала и, не дожидаясь ответа, положила трубку обратно на место. Некоторое время ошалело ходила взад и вперед, затем открыла дверь террасы, вышла, чтобы позвать соседей на помощь.

Осенний холод и поздний час мрачной ночи снова сковали ее. С минуту она оглядывалась вокруг, как безумная: окна соседних домов были черные, кругом – давящая темнота.

Обратно попятилась домой, осторожно закрыла дверь и не знала, как поступить дальше.

– Господи, что это за испытание?..– невольно повторяла она. – Что мне теперь делать?.. Что делать?..

Вернулась в спальню. Мужчина по-прежнему смотрел в потолок немигающим взглядом. Лампа с абажуром не освещала его лицо целиком, часть находилась в тени, от чего вид его был отталкивающим, вызывал ужас. Тем более, что один глаз блестел под светом. Только сейчас Виолетта заметила все это, стала пятиться в ужасе и укусила себе кулак, чтобы не закричать. Она почти выбежала из комнаты, упала на диван, проклиная свою судьбу, свою жизнь, свою любовь, мир и все вокруг...

– За какие грехи, Господи, за какие грехи?.. – время от времени повторяла она, давя крик в горле. – Эх, Ваге, что ты натворил?

Потом вдруг вскочила, прислушалась. Она явственно услышала свое имя. Это был голос Ваге: «Виолетта!» Тут же побежала в спальню, вытирая глаза.

Ваге в той же позе смотрел в потолок. Виолетта застыла в дверях. Затем, застонав в отчаянии, схватилась за голову:

– Я схожу с ума.

И без того ее волосы были растрепаны, как у безумной.

– Ах, Господи, что творится?

Вернулась обратно на террасу. Положение казалось безвыходным. Одиночество, усугубляемое тем, что в соседней комнате находился труп мужчины, страх и чувство безнадежности лишили ее воли. Она не осознавала своих действий, мысли ее были беспорядочны, половинчаты. И смотря сейчас на неубранный стол, стул, на котором пару часов назад сидел Ваге, и все было нирваной, похоже на сказку, она едва не теряла рассудок: реальное и нереальное перемешались...

Женщина рухнула на пол, зарыдала:

– Хоть бы не пришел... Если уж должно было случиться, пусть бы случилось у него дома.

Последняя мысль отрезвила ее. Странный холод прошел по телу. В следующий миг мозг ее снова затуманится... Однако она встала, подошла к столу, взяла наполовину выпитую бутылку и поднесла к губам. Глотнула и чуть было не задохнулась. Закашляла вдоволь. Теперь опешила от своего действия. Но еще больше растерялась, когда взгляд остановился на висевшей на стене картине. Словно сделала открытие для себя. Про мужа вовсе забыла. Забыла? Смотрела пристально. Внимание невольно сосредоточилось на глазах: не блестели. Взамен эти

глаза навели ее на другую мысль. Тем более что стоящие на телевизоре часы три раза прозвенели. И Виолетта, которая до этого была одинока, покинута, напугана до безумства и отчаявшаяся, сначала ужаснулась от звука, напоминающего марш смерти, и лишь потом почувствовала, что внутри у нее что-то происходит, что какая-то неведомая сила собирает, подобно магниту, осколки всего того, что до этого было разрушено внутри нее.

Немного спустя она собрала брошенную на диван одежду и вошла в спальню. Сбросила с Ваге одеяло. Сбросила, а сама застыла у стены. Испугалась. Думала, что когда она будет стягивать одеяло, он непременно шевельнется, и так как не шевельнулся, Виолетта онемела. Совершенно голый, мужчина безразлично смотрел в потолок... Взгляд его был убийственен, и Виолетта вот-вот должна была снова лишиться воли, даже выпитая водка не помогала. Она робко подошла, протянув руку вперед. Вначале коснулась пальцами его волос, лишь потом осмелилась опустить руку и закрыть глаза. Навсегда. И опустилась необъяснимая легкость. В первую очередь на него. Казалось, Ваге до этого мучился и лишь сейчас, закрыв глаза, успокоился. Он был похож на спящего. Нет, спал. Виолетта даже осмелилась наклониться и прикоснуться губами к его полураскрытому рту. А выпрямляясь, испытала горько-жалостное чувство к лежащему перед ней телу. Закинула волосы за уши и приступила к делу. Но что это такое – опять растерялась? Стала метаться из стороны в сторону. Нет, нашла. Лежали на полу. Трусы Ваге. Стала надевать. Впервые в жизни одевала мужчину. Пыталась определить, где зад трусов, где перед. И впервые видела его наготу вот так, под светом. Взгляд невольно приковался к дубу, сваленному ураганом. Поцеловала. Это было почтение, признание, прощание. Натянула трусы.

Она не представляла себе, что будет так мучиться, что придется непрерывно переворачивать труп с боку на бок, сажать. И, пока надевала один предмет одежды, вся покрывалась потом. Казалось, что всему этому не будет конца. В один миг даже рассердилась, почему он надел именно эту одежду. Наконец очередь дошла и до пиджака. Она уже вдела одну руку в рукав, возилась с другой, когда что-то грохнуло на пол. Оставив труп лежать на боку, стала искать упавший предмет. Нашла, подняла и... пальцы судорожно сжались, стискивая пузырек с нитроглицерином. Мгновенно проснулась какая-то неизъяснимая боль. Она вторглась, разрушив все, полоснула съежившееся сердце, стиснула, стала давить и давить. И водка была бессильна. И Виолетта обомлела, стала прежней, теперь уже с грузом на своей совести – смертью

любимого мужчины. И, как раненая самка, она бросила с мучительной болью в сторону стены пузырек – в лицо кому-то невидимому. Тысяча осколков разбившегося пузырька разлетелись вместе с таблетками по всей комнате. А она с болезненным стоном рухнула на пол, положила голову на кровать, как приговоренная к смерти перед казнью.

– Забери сразу мою душу... не мучай... – это был не плач, а вой.

До слуха доносился последний разочарованный стон Ваге, и как удары молота: «Эх, Виолетта!»

– Господи, Господи, что я натворила?.. Скотина я, скотина... Ваге, миленький, Ваге... Забери мою душу, Боже, прошу тебя... Ваге, Ваге!.. Ваге, прости меня, если можешь...

А Ваге, казалось, спал на боку, не успев надеть один рукав пиджака. Вой постепенно превратился в скулеж, ослабел, погас. Лишь глухое нытье порой слышалось в мертвой тишине. Некоторое время спустя и оно прекратилось, и теперь явственно слышался монотонный стук часов: тик-так. Часы не выдержали и вновь заиграли то, что умели. Четыре раза. И снова как марш смерти. От этого марша стон Виолетты возобновился. Она оторвала голову от матраса. Матрас был мокрый. Вытерла сопли о подол халата. Поднялась. Она была похожа на побитую собаку. Голова трещала. Увидев Ваге, лежащего на боку, она вернулась к действительности, хотя, когда открыла глаза, в один миг показалось... Натянула и другой рукав пиджака, затем – дождевик. Ничего не забыла? Нет. Даже ремень был на месте. Подошла к шкафу и сняла халат. Надела трусы и бюстгалтер. Нашла в шкафу джинсовые брюки, спортивные полуботинки, связанный ею свитер. Одевшись, как положено, бережно собрала волосы на затылке, скрепила заколкой.

Сперва опустила с кровати ноги Ваге, затем, взяв его за подмышки, потащила на террасу. Уложила на пол, принесла туфли, надела. Выключила свет на террасе и в темноте по возможности беззвучно открыла дверь. Шлепанец мужа она сунула под настежь распахнутую дверь, чтобы она не закрывалась, и потащила труп наружу, в сени. Опустила труп, положила шлепанец на место, бесшумно закрыла дверь.

Усталый ветер давно заснул. Окна соседних домов по-прежнему были темные. Кругом стояла тишина. Воздух был тепловатый, моросило.

Теперь Виолетта не знала, как поступить дальше. Она должна была спуститься по четырем деревянным лестницам. Тащить не могла – стук ног выдал бы. Оставалось взвалить труп на спину, а для этого прежде всего нужно было поднять его. С большим трудом она сумела поставить его на ноги, прислонив к стене, сама нагнулась... Ваге сва-

лился ей на спину, чуть не задавил. И таща его как мешок, сдавленная, кусая губы, чтобы не издавать звуков, она кое-как осилила четыре ступеньки, медленно и бесшумно. Дальше не могла. Вот-вот должна была рухнуть, колени дрожали от тяжести груза, сердце трепетало, как воробей. Про себя даже удивилась, что прежде никогда не чувствовала на себе этой тяжести. Хотела опустить груз, но не сделала этого, так как потом была бы вынуждена тащить его, что было невозможно. Ветер сделал свое разрушительное дело: по всей аллее лежали сухие листья. А до ворот было пятьдесят-шестьдесят шагов. Где-то закукарекал петух. Это заставило Виолетту оторваться вместе с грузом от стены, хотя ей хотелось еще немного отдохнуть.

Несмотря на то, что опавшие листья были еще влажными, они предательски шелестели. Тем более что ноги мужчины упорно терлись о землю, невзирая на все старания Виолетты. До того, как добраться до ворот, она еще раз прислонилась вместе со своей ношей к забору. От дыхания Виолетты шел пар, она покрылась потом. Щекоча, большая капля пота потекла от шеи вниз, под бюстгалтер, задев на своем пути крест, висящий на цепочке. Виолетта даже пожалела о том, что надела свитер.

Минуту спустя раздался еще один петушиный крик. Надо было спешить. Листва шелестела под ногами, но черт с ней – иного выбора не было. Лишь дойдя до ворот, она освободилась от ноши, прислонив к стене. Сама же рухнула рядом, тяжело дыша и ловя языком капли пота с тем, чтобы намочить рот. Минуту спустя поднялась, осторожно открыла железную дверь, которая заскрипела, наверное, от того, что отсырела.

Виолетта скользнула вниз, как тень, притихла под стеной, всматриваясь в переулок сверху вниз. Не было никакого движения. Так же осторожно вернулась назад, опустилась на колени за воротами, рядом с «сидящим» за забором Ваге, обняла, прижав голову к груди.

– Прости меня... – глухо застонала она, ласково вытерла ладонью его холодное, влажное лицо.

Уже стало накрапывать. Взяв его за подмышки, потащила за ворота.

Больше не было сил брать на спину, нужно было энергичнее двигаться: свет от ближайшего фонарного столба распростерся почти до ворот. Но, черт возьми, именно здесь, при вынесении из ворот, левый ботинок Ваге зацепился за железо и вышел из ноги. Она положила его и едва надела ботинок, как неожиданно в мертвой тишине послышались приближающиеся шаги. Драхк, драхк, драхк... – раздавалось в

каменистом переулке... Она ужаснулась. Готова была упасть в обморок, а спрятаться, возвращаться обратно не было времени. «Господи, помоги мне», – в отчаянии взмолилась стоящая на коленях женщина, в то время как уже вырисовывались контуры незнакомца, и вот-вот он должен был показаться. Однако тот остановился у предыдущего фонарного столба и стал мочиться на столб. И еще он не закончил свое дело, как свет неожиданно погас, разом скрыв переулок в темноте. Послышался сильный мат: видно, мужчина был пьян. Он приближался, застегивая пуговицы на ширинке. Сравнялся, ворча что-то. Прошел в пяти-шести метрах, и скоро шум его удаляющихся шагов смолк.

От произошедшего силы Виолетты удвоились, она продолжила свой тяжелый труд. В переулке, на месте пересечения с улицей, она вновь опустила труп, выглянула с краю стены: вокруг была непроглядная тьма, ни звука. Сама не знала, почему потащила труп влево, вверх по улице, наверное, потому, что другая, обычно более оживленная улица, была ближе к ней. И когда порядком отошли от переулка, она усадила Ваге, прислонив его плечом к стене. «Прости меня», – снова пробормотала она, однако дождь уже усиливался, и она поспешно удалилась, бесшумно и на удивление легко дойдя до ворот. Без скрипа закрыла дверь, задвинув засов.

Опавшая листва уже не хрустела. Она быстро добралась до дома, но... не вошла внутрь. Прямо на лестнице ноги ее неожиданно подогнулись, она медленно села, опустила голову на перила... и заныла.

Нет, это было не нытье – так скулит оставшаяся без хозяина собака...

Элегия для трубы

В память о друзьях детства – Роберте, Генрике, Лорике, Валерике

Часто пытаюсь понять, был ли необходим миру конкретный человек, к примеру, я и мое рождение в мало кому известном городе Каджаран, а не в центре мира – Париже или в Риме, сейчас, а не, скажем, в 1754 году? Если да, то почему формулу жизни я нашел поздно?.. Между тем вначале казалось, что для того, чтобы прожить жизнь, нужно просто жить, что формулы как таковой нет, тем более что все шло хорошо...

А нас было четверо. Первым из нас расстался с юношеством Греник: после окончания десяти классов женился на однокласснице Ануш. Семья Греника была большой, мать болела. Ануш облегчала бремя. До того, как он женился и стал выходить летними вечерами гулять под руку с новобрачной на улицу, мы били баклуши до вечера под обращенной к солнцу стеной клуба. В Каджаране только и было, что кино. Кино было нашей юностью. В кино мы созревали. В кино и проходила наша жизнь. Скука маленького города съедала нас систематически, безболезненно и незаметно для нас – шестнадцатилетних бычков. В маленьком городе ты или есть, или тебя нет. Здесь все знают друг друга. А каждая девушка – на счету. И все знают друг о друге все. Кто с кем общается, кто где назначает свидание, кто рядом с кем сидит в кино. Хотя многие рассаживались, когда в зале гас свет и начинался фильм. И к окончанию фильма их уже невозможно было найти рядом с девушкой. Им казалось, что все происходило тайно, и никто их не заметил. Гулять же с девушкой по улице у всех на глазах могли лишь вернувшиеся из армии и обручившиеся парни.

Значит, нам оставалось скучать и прохладными летними вечерами подниматься и спускаться с товарищами по единственной улице города. Из аккуратно разрезанной пачки мы кушали сухой кисель, воображая на глазах у девушек, будто наслаждаемся ереванским мороженым. Потом же, спустя полчаса, мы тайком прилипали ртами к фонтанчику... Мы еще ничего, Кромвеля было жалко. Мало того, что его звали Кромвелем, к тому же он был долговязым, на лице же – лишь нос да сотни гнойных прыщей, каждая размером с чечевицу. Врач сказал, что пройдет, как начнет вести половую жизнь. Однако Кромвель не мог ни жениться, ни... Никто не заглядывался на него. Это мы терпели гнойные прыщи – Кромвель был нашим другом, хотя, по правде говоря, не упускали повода для того, чтобы подшутить над ним. А он делал все, чтобы найти себе подругу, готов был на всякие жертвы ради своих гнойных прыщей.

Случилось так, что он приударил даже за дочерью дворника Энвера – Таминой. Кромвель думал, что она, не вышедшая лицом, согласится. Молодые люди даже в кино боялись сесть рядом с нею, настолько она была нехороша собой. А Кромвель и в кино повел несколько раз. Да что там повел: он покупал два билета, один тайком отдавал ей. Входили в зал раздельно. И лишь после начала фильма Кромвель, подобно призраку, оказывался рядом с ней.

Кромвель хотел одновременно войти в сады Семирамиды и остаться рядом со святыми. Мы же, говорю, были бычками, хотя Кромвель был нашим другом, однако его душевные переживания были чужды нам. И потому в самый разгар фильма, подражая контролеру Гарнику, который любил окликать, стоя возле дверей: «Такой-то такой-то, выходи, тебя ждут», один из нас неожиданно кричал в полной тишине зала:

– Арутюнян Кромвель!..

Другой из нас миг спустя вторил:

– Твоему отцу штаны понадобились.

И зал, забыв о фильме, взрывался хохотом, начинался галдеж. Гарник заставлял включить свет, чтобы выгнать дразнивших его. И включение света становилось для Кромвеля вторым ударом. В залитом светом зале взгляды всех тут же начинали искать того, длинный рост которого в это время вчетверо укорачивался, сжимался под сиденьем, как пружина... Однако некоторое время спустя Кромвель снова мирился с нами: ведь мы мирились с его гнойными прыщами.

Помимо кино, праздность уходящей нашей юности мы часто приправляли ароматом шашлычной Зарзанда. Если в этот день фильм не нравился нам, а погода не позволяла идти взад и вперед по единственной улице, кушая кисель, мы обязательно подавались в шашлычную Зарзанда. Вопрос денег решали просто. Наш друг Никол был коро-

лем. Когда у нас не хватало денег, он всегда приносил из дому. Не крал, просто знал, где лежат деньги, молча брал. Столько, сколько было. Родители, конечно, знали об этом, но всегда прощали Никола – он был единственным у них и инвалидом, хромал на две ноги: в детстве упал со стены, окружающей детский сад, и теперь при ходьбе качался вправо и влево, подобно маятнику. А самое главное – он был приемным ребенком. До слуха Никола довели, что он из детского дома и опекавшие его – вовсе не родные ему. Потому он был зол на весь мир и со зла тащил из дому деньги, словно мстил содержащим его. А мы на эти деньги пировали в колонии Зарзанда.

Находящийся на окраине города квартал и сейчас называется колонией по причине располагавшейся здесь годы назад исправительно-трудовой колонии. В то время мы, мальчишки, были знакомы со многими из арестантов, покупали им на их деньги дешевые сигареты «Аврора» и чай, они же дарили нам смастеренные ими эбонитовые кресты и амулеты. Были у нас знакомые и в военном отряде, охраняющем колонию. К ним мы шли в субботние вечера – в дни, когда показывали кино для отряда. Чтобы не быть замеченными и дежурный офицер не выгнал нас из зала, мы садились прямо на пол перед первым рядом, между ног солдат. И в ходе всего фильма дышали запахом кирзовых сапог и портянок, вылупив глаза на Чапаева, военный корабль «Потемкин»... Сейчас на месте колонии были пятиэтажные жилые дома, а вместо солдатского клуба – шашлычная Зарзанда, где мы сидели до полуночи, до тех пор, пока Зарзанд по-дружески, хотя нам в отцы годился, произносил:

– Ребята, хочу потихоньку собираться...

Пока он потихоньку «собирался», мы, шестнадцатилетние бычки, познавшие, на наш взгляд, смысл жизни, в прекрасном расположении духа отдавали себя полуночной прохладе. И казалось, что мы – хозяева жизни, и от этой мысли жизнь становилась сказкой, а жить – удовольствием. Время останавливалось для нас в настоящем. И от желания насладиться моментом сполна наше настоящее наполнялось самыми несуразными глупостями...

Я не сказал, что колония была изолированным участком, от города ее отделял пустынный километровый отрезок, и эта территория по ночам в основном пребывала в темноте. Однако нам не составляло труда оседлать одного-двух ослов, ищущих пропитание в ближайших мусорных баках. И в город мы въезжали на ослах. Потом в качестве «платы» надевали ослам на копыта пустые банки из-под сгущенного молока и гнали их по улице Ленина. И сами же потешались издалека.

Представьте себе: полночь, пустынная улица, треск и звон жестяных банок. Этот шум отдавался эхом по всей улице, троекратно усиливаясь. Осел ослом, но для того, чтобы высвободить свои ноги и прекратить шум, он ускорял шаги – вместе с этим шум еще больше усиливался. И ругань вышедшего на балкон полусонного человека смешивался с треском и звоном, наполнявшими улицу; домашняя туфля другого мужчины с разгулявшимися нервами или иной попавший под руку предмет летели с пятого этажа...

Так мы транжирили свою юность, но так как случайность также имеет свою закономерность, то однажды непременно должна была случиться беда. Просто наступила осенняя мглистая ночь, в которую дождь не был дождем, а садящейся на тебя водной пылью. Не знаю, то ли мы поздно заметили ее, пребывая в очередной раз в мире блаженства, то ли эта женщина в самом деле вдруг выросла перед нашим носом? В темноте невозможно было разобрать ее лица. Вместо женщины мы видели лишь колеблющиеся контуры бочки, и когда она заговорила, я понял, что в эту ночь мир принадлежит не только нам, но и ей, и она считала себя королевой. Женщина произнесла:

– Ребята, родные мои, курева не найдется?

Выученного Кромвелем в школе хватило бы лишь на «здравствуй», «до свидания», «я тебя люблю», потому он и наклонил шею, подобно жирафу, в сторону моего уха:

– Что говорит?

– Папиросу просит, – ответил я.

– Бо...

Пока Кромвель произносил тягуче что-то многозначительное, я дал женщине «Аринберд» и приблизил зажигалку. Только сейчас заметил, что она в летах. Волосы ее были собраны под косынкой, завязанной на шее. На ней был ватник. Она не была местной – работать в Каджаранском комбинате приезжали из различных концов страны Советов. Женщина с большим удовольствием втянула в себя дым и приступила к разговору.

Когда это двое пьяных понимали друг друга, чтобы мы четверо понимали? Но это было особое удовольствие – болтать с пьяной женщиной, тем более что мы впервые в жизни видели пьяную женщину, и наше удовольствие засасывало нас, подобно болоту. Ведь эта стерва очень развязно вела себя, невообразимо развязно в нашем понимании. Говоря, она шаталась, шатаясь, бросалась в объятья кому-либо из нас. Когда упала Кромвелю в объятья, застыла. Кромвель подержал ее в своих объятьях. Потом, так как она сама того хотела, мы взялись про-

водить ее до дома. Она была вдвое пьянее нас. Я не мог понять, что сделало нас столь покорными, послушными, хотя мы воображали себя хозяевами. Одним словом, повернули назад и вскоре достигли колонии, указанного ею здания.

По правде говоря, если бы это зависело от меня, здесь мы и распрощались бы. В незнакомом, загадочном, вызывающем оцепенение удовольствии был и отрезвляющий холод. Однако я не мог возвращаться один, а ребята, очарованные ею, забыли обо всем на свете, меня и себя.

Пока мы поднимались на пятый этаж, я умолял делать это тихо: если кто-либо увидит нас, то нам – хана. А королеве все было нипочем: то и дело заливалась смехом. И еще как хохотала, паскуда! От ее хохота в полутьме подъезда все волновалось, и некая теплая, цепенящая струя распространялась по всему телу, концентрируясь в штанах. Ее смех воспринимался как приглашение в рай – кушать яблоко... Мы же, повторяю, были бычками, не видевшими луга, тоскующими по лугу... Перед дверью квартиры она долго шарила в карманах, ругая ключ, который, в конце концов, оказался за пазухой, вероятно, под лифчиком. Кроме меня, никто не был способен просунуть ключ в замочную щель, потому дверь открыл я, чтобы тут же войти внутрь, дабы никто не увидел нас на лестничной площадке. Женщина на удивление быстро нашла выключатель. Включила свет. Это была однокомнатная квартира с обстановкой, характерной для одиночки.

– Наконец я дома! – воскликнула она в блаженстве и лишь сейчас, видя нас под светом, задумалась на миг. – Вы кто такие?.. А-а... понимаю... Благодарю вас за то, что провели... А сейчас надо идти домой... Вы славные мальчики, – она стала смеяться. – Вы, в самом деле, много постарались для меня... Спасибо, что проводили... А сейчас, сынки мои, шагом марш, вам уже спать пора... Слышите? Шагом марш! Не то, знаете ведь, что сделаю? – и она с напускной строгостью пригрозила пальцем. – Милицию позову...

Ее последние слова снова заставили Кромвеля наклонился к моему уху:

– Что говорит?

– Говорит, убирайтесь, уходите.

– Бо...

А женщина все еще говорила сама с собой. Уже сняла косынку. Разговаривая, расстегнула пуговицы сорочки. Потом, забыв о нашем присутствии или не ставя нас ни во что, сняла сорочку, сама с трудом держась на ногах, и как ни пыталась накинуть сорочку на спинку стула, один рукав ее все равно коснулся пола. Однако это уже не имело значения: женщина упала навзничь на кровать. Распласталась. Ей было плевать, что подол вздернулся, обнажив бедра... Так близко видели впервые. А на ней было дешевое спортивное трико, швы которого, казалось, вот-вот лопнут из-за мясистых бедер.

Некоторое время женщина ворчала с закрытыми глазами что-то нелепое, потом это превратилось в бормотание, и вскоре она умолкла. Лишь пышные груди равномерно поднимались и опускались, словно шатающиеся во время землетрясения холмы. И лишь это свидетельствовало о том, что лежащая на кровати – не труп. Землетрясение происходило внутри нас, мы были огорошены и не знали, как поступить. Никол, который до этого по-хозяйски прошелся по всем углам квартиры, зашел в туалет.

А Кромвель... Первым Кромвель осмелился прикоснуться к обнажившейся ноге женщины, положив руку выше колена. Реакции не последовало. Это было то, что надо. Рука Кромвеля воровато пошла вверх, чем дальше, тем смелее и смелее... Я подошел, схватил его за рукав:

– Не перебарщивай.

Он оглянулся на меня, держа руку между ее бедрами. По его взгляду я понял, что Кромвеля не удержать, но я снова запротестовал:

– Дверь открыта, если кто-то войдет, то нам – хана.

Кромвель пошел закрывать дверь, я – за ним, и уже в коридоре снова пристал к нему:

– Понимаешь, как потом все может обернуться?

– Не трусь, ничего не будет... Такой шанс выпадает раз в тысячу лет.

– Но можем вляпаться в беду.

Он взял меня за плечи и посмотрел в упор:

– Скажи, ты друг мне?

Я кивнул.

– В таком случае – не каркай. Подожди минут десять у двери. Потом ты сделаешь, если есть желание.

По правде говоря, и я был не против вкусить райского яблока, но хоть бы комната была темной – представил бы кого-нибудь из нравившихся мне девушек и не заметил бы, что лежащая на кровати была возраста моей матери...

Пока мы с Кромвелем переговаривались, кровать неожиданно заскрипела. Вместо двери в комнату висел занавес, завязанный в пучок с двух сторон. И в разрезе занавесей мы увидели раздвинутые ноги,

белые, толстые, мясистые, со складками, а между ними красовалась обнаженная качающаяся задница Никола – от этого и скрипела кровать. Вид был необычный, отталкивающий. От увиденного у меня исчезло всякое желание. Сидя на стульчике на кухне, я понял, что не могу кушать объедки с чужой тарелки. Я или должен быть первым, или – вне очереди. А Кромвель не был похож на самого себя.

– Всюду суется вперед, – фыркнул он в адрес Никола. В его голосе был смертельный яд.

Пока кровать скрипела, он яростно ходил взад и вперед из кухни в коридор. Порой останавливался перед занавесью, устремляя взгляд на скрипевшую кровать. И, возвращаясь в кухню, каждый раз фыркал:

– Не понимаю, почему он не кончает...

И снова шел к занавеси.

В один момент он вернулся, но теперь сел на стульчик с искаженным пустым взглядом. Спустя пару секунд в коридоре появился Никол, застегивая ширинку. Его лицо сияло от счастья. А Кромвель был похож на сигарету, которая выгорела сама по себе.

– Оказывается, чистить дымоходы – бесподобная вещь, – произнес Никол в блаженстве. – Если и вы хотите, поторопитесь. Не будем же сидеть здесь до утра.

Не было надобности говорить об этом Кромвелю, он уже исчез за занавесью. Однако спустя пару секунд вернулся. Описать словами вид Кромвеля было невозможно, также как и то, что творилось у него внутри. Это, пожалуй, была единственная реальная возможность в его жизни освободиться от прыщей, рассыпавшихся по всему лицу. И теперь он не был в состоянии использовать «шанс, предоставляющийся раз в тысячу лет». Кромвель был в полном отчаянии. Он набросился на Никола:

– Во всем ты виноват, шакал.

– Это ты мне?! Да я тебе шею сверну.

И когда они вот-вот должны были схватиться в прихожей, подобно петухам, я встал между ними:

– Хватит, из-за вас и я вляпаюсь в беду.

– Разве не видишь? Он хочет из меня крайнего сделать, – сердито произнес Никол, вошел в кухню, сел на стульчик, где до этого сидел Кромвель.

– Хиппи, как мне быть? – присмирев, Кромвель обратился ко мне.

«Хиппи» было моим прозвищем – за мои длинные волосы. Я был Хиппи, но не врачом: что я мог посоветовать, когда то, что должно

было разбудить находящуюся в обморочном состоянии овчарку Кромвеля, было распластано на кровати и обнажено до пупка.

Кромвель снова исчез за занавесью.

Все еще не остыв, Никол, сидя в кухне, курил, встряхивая пепел на грязную посуду, громоздившуюся на столе.

– Так и скажи, что не стоит, – произнес он громко, – а то нашел причину...

– Закрой пасть, – ответил появившийся в коридоре Кромвель и снова проскользнул за занавесь.

Я еле удержал Никола, тут же вскочившего с места.

– Никол, как брат, не перебарщивайте. Забываете, где мы находимся.

– Короче, Хиппи, через десять минут уходим. Не будем же сидеть здесь до утра, – Никол сказал это больше для Кромвеля. И Кромвель, наверняка, услышал.

То, что лежало обнаженным перед глазами Кромвеля, смущало, а не вдохновляло его. Наверное, поэтому он стал расстегивать сорочку женщины. Он надеялся найти здесь вакхический эликсир. Однако вместо ожидаемых грудей обнаружил сморшившиеся соски и тряпки в лифчике. Черт знает, для чего ей нужны были эти тряпки. Для того, чтобы держать в стоячем положении груди, чтобы привлечь клиента, или же использовать в нужный момент?

Никол постучал указательным пальцем в стену кухни, прямо над своей головой. Сделал он это демонстративно. Он вел себя как циник и от этого чувствовал себя хорошо. Он испытывал свое мужество. Издевательство же над Кромвелем доставляло ему удовольствие. Поэтому он не назвал имени Кромвеля, а просто произнес, стуча в стену:

– Слышь, если не получается, скажи. Я готов вместо тебя еще раз.

Однако на этот раз ответа не последовало. Но Никол не собирался отступать, он стал атаковать с другой стороны:

– Осталось пять минут... Хиппи, через пять минут уходим.

Кромвель и без того понимал, что время поджимает, и торопился. Естественно, в спешке вместо того, чтобы сконцентрироваться, он запутывался, терялся, тем более зная, что в кухне считают его время...

Кромвель вышел из-за занавеси.

– Я остаюсь, – произнес он холодно, решительно.

Мы опешили.

– Ты что, дурак? – сказал я.

– Я остаюсь, – Кромвель был непоколебим.

– Если ты всю жизнь останешься здесь, все равно, ничего у тебя не получится, – это был Никол, черт побери! Словно бес вселился в него, потому что произнесенное им свершалось.

Женщина, которая до этого лежала, как бревно, вдруг зашевелилась, открыла глаза и хотела встать, но смогла лишь сесть, и тут ее вырвало – она испачкала себя и постель. Потом, не поняв, что происходит, охнула и в бессилии повалилась на бок. Ноги ее остались свешенными с кровати.

– Финита ля комедиа, – произнес Никол на манер актера итальянского кино, сурово, бездушно. – Я же говорил, что ничего у тебя не получится.

Тут же перед моим носом что-то пронеслось, и Никол трахнулся спиной о дверь туалета, дверь распахнулась, и он рухнул внутрь, слившись с шумом переворачивающихся ведер и тазиков.

– Проститутки! – взревел Кромвель. – Вы – проститутки!..

И, захлопываясь, входная дверь квартиры едва не вылетела из рамы. Парадная загрохотала в ночной тишине.

Никол вышел из туалета с опухшей и отвисшей нижней губой. Он выплюнул на пол кровь. Фыркнул. Слов его трудно было разобрать, но смысл был понятен. Это была непечатная брань. К счастью, когда мы удирали из квартиры, в подъезде царило безразличное молчание.

От тумана исходила водная пыль. Мы шли в ночной тишине, всматриваясь в улицы и дворы выстроившихся в ряд домов. Кромвеля не было. И от того, что Кромвеля не было, бешенство Никола усиливалось. Он выкрикивал в пустынной улице непечатные матерные слова.

– Я с него кожу сдеру. Еще не родился тот, кто поднял бы руку на Никола, – периодически фыркал он, подобно паровозу, и приправлял это новой чередой бранных слов.

Он был прав: без него в городе почти не было драк. И от избиения людей он непременно получал высшее наслаждение. А сейчас рассекли его губу, к тому же, это сделал Кромвель, с которым, можно сказать, дружил лишь для того, чтобы подтрунивать над ним.

Он опьянел от ярости, и чем дальше, тем больше становился невыносимым и необузданным. Пару раз даже попытался выместить свою злость на мне. Я не дал повода для этого. Я хорошо знал Никола. Он был шизиком. Связаться с ним, тем более сейчас, означало добровольно впутаться в историю. В глубине души я всегда жалел его за уродливую походку, за его судьбу. Думал, пусть выскажется, успокоится. Идя с ним рядом, я выдерживал определенное расстояние, чтобы, оборачиваясь ко мне, он не задел меня плечом и не вспылил. В иных

обстоятельствах это было бы нормально, но сейчас он приставал:

– Сторонишься меня?.. Моя походка тебе не нравится?..

– Разве я говорил это?

– Не говорил, но подумал... Вы считате себя избранными, – он в первую очередь имел в виду Кромвеля. – Все у вас как надо: отец, мать... Раньше очки не носил, сейчас же носишь, чтобы понравиться девкам. Разве не так?

Затем он прошипел:

– А девки-то знают, что я – единственный мужчина среди вас... Олухи! Гады!..

Это был другой Никол, суровый, заклятый враг. Холод осенней ночи не остужал его. И пока мы шли, он не прерывал свой диалог, сочиняя по ходу новые бранные слова. Я уже говорил, что старался не обращать внимания на его надоедливые речи, но хотя молчал, внутри у меня все разрывалось от волнения. Я и не допускал, что Кромвель мог устроить нам засаду. Мне наивно думалось, что он сообразит пару дней не показываться, пока уляжется буря, как обычно он делал это после того, как мы играли с ним очередную шутку.

Но... Но я же говорю, что бес попутал Никола. Угадав мои мысли, он неожиданно схватил меня за ворот:

– Ты пойдешь со мной.

– Куда? – не понял я.

– Домой... Вытащу на улицу в чем будет, – сказал он.

– Сейчас?

– Да, сейчас.

– Можешь это и завтра сделать.

– Нет, сегодня и сейчас!

– Сейчас поздно, я не пойду.

– Пойдешь. Ты должен увидеть, как я ему шкуру спущу.

– Зачем? А дальше что?

– Чтобы убедился, что еще не родился тот, кто ударил бы Никола... Понял?.. Кроме того старого хрыча, – и он поднял указательный палец вверх, воткнул в туман, осыпав все кругом матом.

– А наша дружба?

– Заткнись, – закричал он мне в лицо, затем отпустил мой воротник. – Я одинок... одинок... в этом большом мире, – и пошла новая брань. – Представляю, с каким удовольствием травила бы меня свора твоих избранных, если бы была на то возможность... Сучий мир...

Мы уже преодолели достаточное расстояние и почти уже оставили позади колонию – проходили мимо шашлычной Зарзанда, дежур-

ный свет в большом окне которой напоминал гноящийся глаз, когда из-за стены неожиданно прыгнула на нас чья-то тень. В этот миг я услышал полный боли крик Никола, и голова моя треснула от глухого стука. Мне показалось, что от удара ломом моя голова раскололась, как гранат, и из образовавшейся щели вылетели зерна граната – тысячи звезд, потянув меня за собой... Спустя миг звезды рассеялись по всему небу, а я никак не мог дойти до места. Все кругом накрылось молочной мглой, я скользил в этой мгле к небу, но мгла не кончалась... И, поразительное дело, как только показалось, что вот-вот доберусь до звезд, оставив мглу под собой, слух мой уловил доносящийся издалека звук: это выстрелил самодельный пистолет Никола, из которого я сам несколько раз стрелял по бродячим собакам. Пистолетный выстрел низверг меня с небес... Первое, что я почувствовал, открыв глаза, были невыносимая боль в области затылка и тошнота. Остальное пребывало в тумане. Тем более, что очков на моем носу не оказалось. Вдруг я вспомнил о Николе. Сейчас его не было. Я был один на ночной улице, где от тумана исходила водная пыль. Я стал щупать кругом в надежде найти свои очки. И неожиданно моя рука наткнулась на... Кто-то, скорчившись, лежал на боку, держа руки на животе. Это был Кромвель. Я, спустившийся с небес, не совсем воспринимал окружающее, тем более – свершившееся. Поэтому не чувствовал ни ужаса от случившегося, ни тем более сострадания к Кромвелю, который, держась одной рукой за живот, другой повис на моем рукаве и молил о чем-то. Однако, выходя из его горла, слова превращались в странный сип. И в этот миг я не был в состоянии понять, что вместе с умирающим в эту осеннюю туманную ночь Кромвелем умирает и моя юность – несчастная, лишенная будущего.

Между тем стоило искать смысл в том, что свою юность я начинал с колонии и завершаю в колонии. Кто знает, может, было возможно обойти этот осенний день, чтобы Кромвель остался жив. А может, засевшая в засаду беда годами терпеливо ждала именно этой осенней ночи? Не знаю. В любом случае мы сами избрали путь, на который село это чудовище. Но мы были бычками, не знающими о ловушках жизни, и нам казалось, что мы живем, в то время как шли к гибели, и не было кого-либо, кто остановил бы нас...

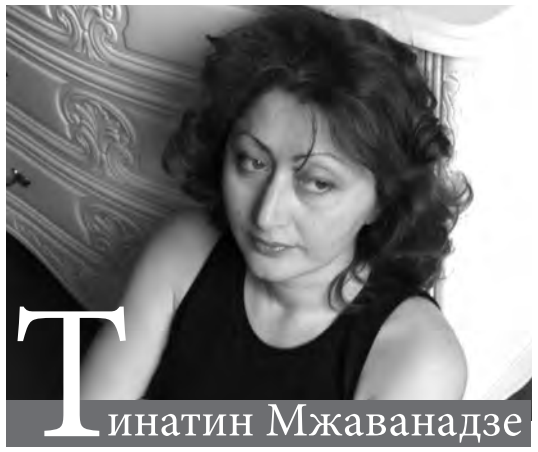
Я говорю, что в тот миг не понимал ничего не только в свершившемся, но и в самом себе. Вместо того, чтобы предпринять что-нибудь для спасения Кромвеля, который сипел все слабее и слабее, после больших пауз, в моей голове, принявшей удар лома, продолжала звенеть одна и та же мысль: Никол сбежал. Но я никак не мог определиться, в

какую сторону бежать мне, и продолжал стоять на коленях на мокром асфальте, пребывая в этом мире и одновременно – непричастный к миру.

Именно в этот миг, хотя и без очков, я заметил в тумане движущуюся черную точку. Она шла навстречу. Кто это? Никол? Немного спустя стали обозначаться контуры. Шел соразмерными шагами, которые четко слышались в ночной тишине. Звук был знакомый и отдавался в моей голове. Нет, это был не Никол, из тумана, в конце концов, вышел осел. Он шел прямо на меня, монотонно звеня надетыми на ноги пустыми банками.

Этот осел был моей судьбой...

Перевод Ашота Бегларяна



Тинатин Мжаванадзе

Журналист, работала в газетах и на телевидении, прозаик, известный блоггер. Печаталась в литературных журналах и сборниках.
Живет в Тбилиси.

Благословенные жулики

– Ну, что у нас за жизнь, – ныла я вечерами над ухом у бедного мужа. Он валялся на диване, полумертвый от усталости после своей нескончаемой работы, и даже не имел сил швырнуть в меня тапками. А и в самом деле, что у меня была за жизнь?!

Переехав в столицу за заработками, наша молодая семья сняла квартиру лишь бы подешевле, не зная местных реалий. Оказывается, попали мы в один из бандитских кварталов города. Целый день с ребенком в 4 стенах, одна радость – сесть у окна и наблюдать очередную новеллу из нескончаемого сериала «Бандерлоги и Каа: воспитание чувств». Бандерлогами были пятеро детей-курдов из семейства Майи и Валеры, живущих под нами в подвале, а в роли удава выступала грозная старуха в черном, тетя Лили со второго этажа (социальный статус человека в «итальянском» дворе определялся удаленностью его жилища от земли), похожая на сицилийскую вдову, идущую мстить за пристреленного мужа. Курдские отпрыски (зимой и летом босые и никаких бронхитов, черти) вели себя разнузданно и буквально лезли в окна, выклянчивая то денег, то еды, но стоило черной фигуре замаячить на балконе, и они замирали в смертельном ужасе, пока Лили окидывала их немигающим взглядом.Мы только что переехали из провинции в столицу, и даже самая распоследняя курдская дворничиха смотрела на нас свысока, ибо она – коренная, а мы пришлые.

«Вот парадокс», – мучилась я мыслями, – «деньги появились, и никакой от них радости нету». Ибо что нам, женщинам, нужно от денег? Одеться и покрасоваться, все остальное – ерунда. А мне даже интереса не было одеваться, потому что ходить было просто некуда и не с кем – муж пахал почти круглосуточно.

– Ну, пойдем хоть куда-нибудь, – ныла я.

– Это же не навсегда, – бормотал, засыпая, муж.

– Ага, когда мне будет 90, в коляске покачу на дискотеку, – хлопала я дверью и уходила укладывать Сандрика.

В один прекрасный день муж пришел домой какой-то загадочный и небрежно вручил мне длинный навороченный конверт с тиснениями.

– Это сегодня в офис принесли, – сказал он мимоходом. – Крутая тусовка предвидится, надо пойти в смокинге и с супругой в атласном чехле, а более респектабельных шлангов, чем мы, во всем бизнес-

центре не сыщешь.

Не веря своим ушам, я вскрыла конверт и на выуженном оттуда еще более навороченном листке с монограммами, эполетами, бантами и аксельбантами прочла, что какой-то-там рекламный холдинг проводит рекламную акцию с участием всех мыслимых местных и зарубежных ТВ, заинтересованных в присутствии бизнеса в Заказказье, с руководителями местных компаний и представителями деловых кругов.

– Правда, пришлось внести за участие 150 долларов... – слегка пококетничал Давид.

– ВАУ!!! – заорала я. – Остался всего один день!

Сандрик бросил надевать папины туфли и с интересом воззрился на скачущую мать – обычно он видел меня сосредоточенной и хмурой.

Вся накопленная в бездействии энергия была брошена на решение одной колоссальной задачи: прийти на прием самой потрясающей парой! Эта колоссальная задача делилась на множество маленьких, но не менее трудоемких и жизненно важных: прическа. Одежда. Обувь.
А поскольку муж должен был составить мне выигрышную пару для фона, то задача удваивалась – шесть разных проектов. Ну, скажем, над его прической думать нечего – набриолинится, и все дела. Значит, остается пять пунктов. И всего 24 часа.

От перевозбуждения я вертелась в постели как ужаленная, и лишь под утро мой измученный феерическими картинами мозг отключился.

..Во сне меня истязали вспышки фотокамер, нацеленных на нас с Давидом, официанты с подносами с пузырящимся шампанским и какой-то важный продюсер, которого должна была развлекать именно я, стоявшая на немыслимых шпильках и в таком декольте, что полиция нравов была уже на подходе...

* * *

Адская скачка по магазинам, бутикам и толкучкам увенчалась приобретением сногсшибательного костюма Ди Стефано Давиду (серый буклированный твид, френч) и черного элегантнейшего наряда (отделка бархатом, Вадим) мне. Честно говоря, ни одного, ни другого я не знала и знать не желала, но впервые за долгое время мы позволили себе шикануть, и это было упоительно.

Додик вдруг почувствовал вкус к мотовству и позволил коварным продавщицам соблазнить его на покупку часов себе и серо-голубого плаща неземной красоты мне. Я же только бешено вращала глазами, пытаясь его урезонить, но потом вспомнила, что деньги могут кончиться, а одежка останется навсегда со мной, и плюнула на скромность.

Последним пунктом была парикмахерская. Надо сказать, шла я туда с опаской. Ибо моя проверенная батумская Галя была далеко, а здешняя Цицо месяц назад вместо мелирования спалила мне волосы в патологическую блондинку, которую я кусками закрасила каштановым цветом, оказавшимся с бордовым отливом.

Знаменитый на весь Тбилиси Гарик был поддат, лыс и очень весел.

– Гого-джан, ты трехцветный флаг на голове делала? – изрек он после ревизии материала.
Я было насупилась, но отступать было некуда.

– Я сегодня иду в очень, очень хорошее место,- пролепетала я. – Сделайте мне просто очень, очень красиво.

Гарик понял, несмотря на поддатость и общее разгильдяйство. Он летал вокруг меня битых два часа, напевая «А я сяду в кабриолет...» в армянской аранжировке, но когда я встала с кресла, вся эта снобистская вакинская шатия в салоне проводила меня стоя овациями. Я шла и, не отрываясь, смотрела на себя в витрины и то и дело натыкалась на прохожих: неужели эта чудесная, стильная женщина с потрясающими волосами, так изящно падающими ей на лоб, и есть я?!

Давид вообще потерял дар речи и чуть было не затащил меня в ванную, но времени просто не оставалось: в предвкушении праздника я носилась по квартире, как коза, которой под хвост плеснули нашатырного спирту. Сандрик был сдан под расписку соседской бабуле. Он зачарованно посмотрел на незнакомую маму, присел, потрогал бликующие туфли и сказал задумчиво:

– Замазиа (типа «красива»)...

На улице, где тусовалась местная шпана, случился фурор. Стоявшие на рабочем месте проститутки, увидев хрустящую, как новенький доллар, парочку лохов, забыли о своих приоритетах.

* * *

Гостиница «Метехи» не стала пятизвездочной только потому, что построена не в центре города, но выглядела, как Голливуд для начинающей старлетки. Поругавшись из-за раздолбанного такси (я требовала непременно лимузин. А что продюсеры скажут?!), мы прочапали через стеклянные двери и, волнуясь, стали озираться.

– Боже мой, – перепугалась я, – опоздали!

Никого, кроме одинокого пианиста, воркующего блюз на черном рояле, и клюющего носом администратора, в холле видно не было. Не было ни роскошных пар в вечерних туалетах, ни толп журналистов, ни гибких ужей-официантов с подносами. Мы в тревоге обратились за помощью к администратору, который обязан был из-под земли достать наш светский прием со всеми причиндалами.

Он сонно повертел приглашение, проверил число, дату и место («Все верно»), потом послал нас проверить рестораны: один на первом этаже, второй на 22-ом. Мне страшно понравилось кататься в прозрачном лифте, но, тем не менее, оба рестораны были пусты.

Еще немного, и от обиды я готова была удушить администратора, потому что больше душить было некого. Он подумал и вдруг заорал так, что мы вздрогнули:

– Важа! Важа!

Вышел Важа с бейджиком «какой-то-там-менеджер». Мы втроем уставились на него. Он едва глянул на конверт с аксельбантами и сказал:

– А-а-а, это жулики, они были тут месяц назад. Сколько они с вас денег содрали?

...Ни один, ни другой не могли понять, что такого смешного было сказано, что пара респектабельно одетых шлангов хохотала дуэтом, повизгивая и стукаясь лбами в скрюченном состоянии. В лучших традициях О'Генри на лбу у них ясно читалось: пара молодых идиотов.

– Давай поужинаем, я денежку с собой взял, – вытирая слезы, прохрипел Додик.

Я расцвела, выпрямилась, взяла его под руку и, хоть зрителей было всего двое – остолбеневшие админ и менеджер, прошла такой великолепной походкой оскаровской номинантки, что даже толпы репортеров не могли бы к ней ничего добавить.

Вечер удался: мы поужинали в лучшем отеле страны под блюз одинокого пианиста (интересно, как он играл без передышки два часа?), потом отправились на Перовскую в пивнушку «Хэйнеккен» и с друзьями догуляли там под банджо и саксофон. Плюс у нас осталась шикарная одежка и Гарик.

– Слушай, – следующее утро было полно вчерашних авантюрных огоньков, – дай Бог здоровья этим жуликам, а? Даже денег не жалко.

– Точно, – с довольным видом Додик поглядел на новенькие часы и поправил мою растрепавшуюся роскошную прическу.

– Сандрос дэда! Сандрос дэда! (Мама Сандро!) – эта чумазая паразитка Зинэ даже и не пытается запомнить мое имя. Она похожа на шимпанзенка, отставшего от бродячей цирковой труппы.

– Ну, чего тебе? Сойди с подоконника, живо! – вначале я с ней разговаривала как сотрудник международной гуманитарной миссии, но после того, как она стала возникать в оконном проеме через каждые 15 минут, терпение лопнуло.

Я выглядываю в окно и вижу привычную картину: сапожник Лёва собирает свои инструменты, его невестка купает в тазу новорожденного сына – прямо во дворе, очуметь можно! Хромая Тамара уже поддала с утра и ковыляет, матерясь вполголоса в пространство, Кристинэ стирает одежду всех своих недоделанных сестер и брата.

– Не давай им ничего, – вмешалась грозная тётя Лили, мрачно наблюдавшая картину курдского лохотрона. – Они врут как дышат!

– Она говорит, что дети голодные дома сидят, картошку хотят пожарить, – неуверенно оправдывалась я, передавая через подоконник пакет с продуктами.

– Зинэ, сколько тебе лет? – не предвещающим ничего хорошего голосом спрашивает Лили.

Зинэ скукоживается, как инжир на летнем солнце, и бормочет:

– Пять!

– Не пять, а восемь! Ты как раз в тот год родилась, когда моему покойному мужу юбилей отмечали, шестьдесят лет, царствие ему небесное, какой был человек, и как рано...

Шимпанзенок пытается незаметно скрыться с добычей, пользуясь переменой темы.

– Зинэ, – металлическим голосом позвала Лили вымогательницу. Та съежилась и стала еще меньше ростом, боком сползла по деревянным перилам вниз.

– Где твоя мать?! – на вопрос Лили не ответишь, тут тебе и крышка – Зинэ замирает на месте.

– Она пошла квартиру убирать, – заискивающе глядит из-под нечесаных лохм девчонка на удава Каа.

– Какую еще квартиру, кто эту лахудру к себе в дом пустит, – на-

чала было расследование Лили.

– Что ты врешь! – влезла хромая Тамара. – На кофе пошла гадать к Мзие-кахело.

– Кто тебя за язык дергает! – завизжала средняя сестра Зинэ – упрямая и дерзкая Иринэ, схватила ком земли из-под виноградного саженца и швырнула в спину хромой: Лили они боятся совершенно серьезно – если что не так, она прекратит субсидировать их жизненные потребности.

– Чтоб ты сгорела, зараза, со всей твоей вшивой семейкой! – Тамара обрушила вслед убегающей Иринэ поток брани, так хорошо сдобренный виртуозным матом, что даже привычые к её фоновому лексикону уши свернулись бантиком.

Я захлопнула окно: сил нет слушать ежедневный концерт. Раз вредная хромоножка не может догнать Иринэ, орать будет час, не меньше.

Пока управилась с домашними делами, как раз час и прошел. Я посадила сытого и довольного Сандрика себе на колени, и мы устроились в королевской ложе у окна.

У него свои приоритеты: он влюблен в массажистку Сусанну с третьего этажа, точную копию Шерилин Саркисян, только моложе и красивее. Она со своим семейством настолько колоритна, что им стоит посвятить отдельную историю – но это в следующий раз...

Вскоре персонажи, сюжет и жанр поменялись. Зеленый, кислый, как уксус, виноград, накрывающий тенистым шатром весь двор, нельзя было трогать под угрозой расстрела и отсекновения обеих рук, однако изобретательные и вечно голодные дети умудрялись сорвать пару-тройку гроздьев, торопливо их уминали, корчась в судорогах, а если их ловили на месте преступления, разыгрывались такие мизансцены:

– О, чертовы отродья, нет на вас погибели, как вам кишки не скрутит от такой кислятины, дайте ему созреть и потом жрите! – уперев руки в толстенькие бока, разоряется Лёвина жена Рая.

Дети веером прыскают в стороны – кто в подвал, кто на балкон. Рая раскручивает свою сольную партию – она мастерица на проклятия. Перечисляя все напасти, которыми ей хотелось бы отомстить воришкам за украденный виноград, она с блеском берет завершающий аккорд:

И пусть тот, кто украл мой виноград, не доживет до следующей Пасхи!!

Всё, прилетели, она перегнула палку. Дело в том, что среди воришек были и дети со второго этажа – сын моей хозяйки Наны и внук тёти Лили. Обе появляются в оконных проёмах одновременно и, хотя враждуют уже много лет, начинают орать синхронно:

– Да кому сдался твой червивый виноград!

- Проклятие да падет на голову проклинающего!

Два пронзительных женских голоса только мешают друг другу, создавая какофонию и диссонанс.

Нана молодая и глупая, но даже она понимает, что теперь время уступить сцену сильнейшему. Бандерлоги замерли в ожидании мести – тётка Лили хоть и строга, но справедлива. Я быстренько сводила Сандро на горшок и успела к началу монолога. Не буду утомлять вас дословной стенограммой, но речь была сильной, в духе великого Дуче Муссолини. Финал требовал бурных оваций:

– ...И если ты женщина, если ты мать, то как твой язык поворачивается проклясть детей, да, ДЕТЕЙ!!! такими страшными богохульными словами. Да если хоть волосок упадет с головы любого из них, ты не сможешь спокойно спать до конца своих дней, потому что слово – это страшная сила. Рая, чтобы никогда я не слышала больше от тебя таких слов!!!

И картинно воздела перст к небесам. Тронутые за живое бандерлоги на всякий случай посмотрели в указанном направлении.

Бедная Рая просто носом рыла землю, чтобы лечь туда и поставить себе надгробие, она что-то попискивала в своё оправдание, но зрители сурово её осуждали – их потрясенные души требовали возмездия.

– Да пусть хоть подавятся этим виноградом, – вдруг в сердцах выпалила Рая.- У них же язва случится от кислоты!

И ушла со сцены, хлопнув дверью.

Вечером мирный сериал разбавлялся триллером: приходил на бровях пьяный Валера, работавший носильщиком на вокзале, и смертным боем избивал жену Майю, требуя ответить, почему она детей нарожала, а смотреть за ними не хочет. У Майи зубов уже почти не оставалось, и для меня загадка, что именно громил Валера ежедневно, если в их подвальчике не было никакой мебели, кроме разве топчана и раковины.

Утром Майя провожала Валеру на работу так нежно, как будто они только вчера поженились. Во всей этой семейке вменяемыми были только двое: старшая дочь чистюля Кристинэ и малыш Исако, которого все баловали, потому что он был долгожданный мальчик после четверых девок.

* * *

Декорации поменялись, когда что-то ужасное стряслось с канализацией, и прямо посреди двора вырыли огромную зловонную яму, полную фекальной жижи. Весь двор с утра до ночи, забыв о распрях, ругал на чем свет стоит муниципальные службы. Мы с Сандриком окон уже не открывали, да и интересного ничего не происходило. Хозяйкам, в том числе и мне, работы прибавилось: поскольку воду отключили, надо было ее натаскать в ведрах на целый день. Правда, самое интересное, что в подвальчике у курдов вода все равно была – шла самотеком.

– Нет в мире справедливости, – сказала Лилина невестка Ия, каждый божий день мывшая деревянную лестницу.- Она им совершенно ни к чему...

Посреди этой скуки в один прекрасный день тишину вдруг рассек дикий вопль. Весь квартал побросал свои дела и, сломя голову, примчался сюда. Я тоже рванула к окну.

Вопль раздавался из ямы.

– Быстро!! Лестницу! Зинэ свалилась в яму!!!

Такого знаменательного события не было с того дня, когда милиция замела почти всю уличную шпану, и всех пришлось выкупать по одному.

Все эти люди – убогие, хромые, нищие, пьяные, жулики, наркоманы и проститутки, грызшие друг друга целыми днями и гонявшие бедную Зинэ как сидорову козу, бросились её спасать, а дело это было нелегкое и почти героическое, ведь восьмилетняя девчонка еле тянула на пятилетнюю, маленькая и тщедушная, каково ей было в трехметровой глубины яме, напуганной до смерти, не умевшей плавать?! Я вам клянусь, саундтреком сюда годился только Бетховен:

– ...Дай руку, дурочка!!

– Ой, пропала моя девочка!

– Заткнись, нашла, когда вспомнить о дочери!

– А-а-а! Помо...гите!!

– Стань на ступеньку, Зинэ!

–...Принесите полотенце и мыло!

– Тётя Лили, она говна наглоталась, умрет ведь, да?!

- Замолчи, кретинка, скорее банку с водой и марганцовку!

Вскоре мокрая и смердящая, дрожащая как собачий хвост «утопленница» стояла на твёрдой земле и орала уже от ледяной струи воды из шланга, которой её поливали соседи. Майя по ходу причитала по-своему и все норовила достать девчонку кулаком по голове, но не могла выбрать чистого места.

– Так, успокойся, ненормальная, – осадила её Лили. – Дай ребенку выпить марганцовки.

После шести вод с хозяйственным мылом и средством для мытья посуды до Зинэ уже можно было дотронуться мочалкой. Отдраили её до блеска в первый и, думаю, последний раз в жизни. Кто-то не пожалел простыни, кто-то нес горячий чай, хромая Тамара притащила булки...

Когда я уезжала, двор дал прощальный концерт – блистательный, с кантатами, речитативами, с мордобоем и третейским судом. Посреди драки участники уличного театра повернулись к моей «ложе» и азартно пообещали:

– Вот посмотришь, как скучно тебе будет в твоем Ваке!!!

И что вы думаете?! Эта лохматая сволочь даже не чихнула ни разу. Я же действительно скучаю иногда в респектабельном районе по своему итальянскому двору...

Сусанна

Когда я впервые увидела Сусанну, то решила, что у меня глюки: по маргинальному пейзажу, населенному персонажами из Двора Чудес, вышагивала Шерилин Саркисян в молодые годы, только с зелеными лисьими глазами и в сапогах-«казачках».

«Заблудилась, наверно», – только это и пришло мне в голову. Однако почтительная реакция бандерлогов заставила думать, что эта сногсшибательная фемина – местный житель: ведь была же Эсмеральда во Дворе Чудес, лелеемый цветок на куче мусора.

Полная информация о местной достопримечательности была получена за утренней чашкой кофе от Наны, моей домовладелицы. Бывшая пловчиха Сусанна работала спортивным врачом – ну, это если бы Дженнифер Лопес после актерской карьеры определилась в ткачи-

хи-стахановки. Формально замужем, но находится с супругом в статусе раздельного проживания – почти совсем как в случае с Квазимодо. Оказалось, что она делает массажи на дому.

В принципе, моему мальчику массажи ни за каким чертом не надобны, но мне требовалась видимость светской жизни, поэтому Сусанна была приглашена на десять массажей. Мой сын, с рождения большой ценитель красоты, сразу очаровался массажисткой, одновременно напоминавшей и Белоснежку, и ее мачеху. Длинными холеными пальцами она мастерски растирала упругого Сандрика и ворковала над ним вполне искренне. Оказалось, что у нее самой двое сыновей.

«Хулиганы, наверное», – подумала я, – и опять промазала. Стройный и невероятно интеллигентный подросток вежливо поздоровался со мной во дворе.

– Это младший, – польщенно пояснила Сусанна-Шушик в ответ на мои восторги. – Аликуша.

– А старший где? – не сдавалась я.

– Степа? На юрфаке учится. А сейчас в Турции работает...

Представить себе, что какой-нибудь обитатель этого квартала работает где-нибудь, кроме чужих квартир и «зоны», а тем более учится на юрфаке, было невозможно. Я не верила своим ушам.

– Как ты их здесь вырастила? – потрясенно спросила я у женщины, при взгляде на которую материнская функция вспоминалась в последнюю очередь.

– Это у моей мамы надо спросить...

Мама Сусанны оказалась строгой медсестрой с внешностью драматической актрисы. Судя по всему, тетя Сиран была единственным человеком, кого Сусанна боялась просто панически.

– С детми нада вазиться, вазиться, – наставительно произнесла тётя Сиран.- И чтоб каждый минут вы зналь, что они делали. Школа, кружок, бассэйн и – впериот, дамой! Эта разве же матерь, кто в девянаццать ночью не знала, где иво син...

– А ты знаешь, как Степа на юрфак поступил? – хитро замерцала вздернутыми к вискам рысьими глазками Шушик.

...Долгие годы Степе местные блюстители воровских кодексов чести спускали то, что он спортсмен и отличник (для них человек, который ходит в школу с портфелем, однозначно был отличником). Они сквозь пальцы смотрели на то, что он лишь изредка спускался погонять с ними в футбол и потрепаться за жизнь. Они лишь покачивали головами, когда Степа вел мимо них под руку свою прямую, как каланча, бабушку, в то время как его интеллект, физические данные и честнейшая физиономия сильно бы пригодились при разработке различных виртуозных комбинаций по отъему денег у простофиль. Но когда по кварталу пронеслась весть о его возможном поступлении на юрфак – подумать страшно! – Степу вызвали на разговор.

– Что же ты, Степик, ментом решил заделаться?! Легавым станешь и на нас охотиться начнешь, так, что ли?

В общем, обрисовали Степе картину вселенской обструкции и порекомендовали поменять призвание. Или тогда уж место жительства...

Степа был мрачен, Сусанна рвала и метала, бабушка Сиран трагически шептала что-то под нос. И вдруг изворотливый Сусаннин мозг выдал гениальное решение...

...Степа спустился на «биржу» и созвал совет.

- Вы же все рано или поздно загремите в тюрьму, правильно? – бесстрашно сверкая длинными материнскими глазами, риторически спросил он.

– Ну, – с холодным интересом подтвердили будущие постояльцы тюрем.

- А кто вас там крышевать, несчастных, будет? На какие шиши адвокатов будете брать? Кто вас оттуда вытаскивать станет?

Абитуриенты воровского института сначала распахнули рты и ошеломленно уставились на подсудимого, затем напрягли свои затуманенные «травкой» умишки и, наконец, выдали блестящее логическое заключение:

– Ты, Степа...что ли?!

– Да, я, – скромно кивнул будущий адвокат, защитник сирых и убогих, заступник безвинно осужденных карманников и домушников, мошенников и аферистов, благородный Робин Гуд - Степа.

– Ну, тогда совсем другое дело! – возликовали народные обвинители, которым по жизни предстояло стать подзащитными. Их собственный статус по сравнению с остальными блатными города повышался недосягаемо: теперь у них есть свой собственный личный адвокат...

Сусанна, наблюдавшая за переговорами с третьего этажа, сделала знак «виктория, победа». Бабушка облегченно вздохнула.

Я была в полном восторге от Шушик и ее метода воспитания детей, чем и делилась вечерами с утомленным до звона в ушах мужем. Он воспринимал информацию только в цифрах.

– Сколько на массажи надо? – спрашивал он. Я отвечала и получала кучку денег. Но по некотором размышлении обижалась: ведь у

меня была светская жизнь, которой мне хотелось с ним поделиться.

...Однажды Давид забежал домой в полдень, как раз во время массажа.

– Познакомься с Сусанной,- сияя, сказала я.

Давид ожидал увидеть уютную старушку-армянку, похожую на медсестру из его детства, и ...остолбенел.

– Ты смотри, какая ...Сусанна, – восхищенно произнес Додик.

Это выражение вошло в сборник семейных анекдотов.

Сусанна из-за этого долго думала, что мы либо придурки, либо святые – и под конец наклеила на нас язвительно-уважительный ярлычок: «культурные»...

Блистательная массажистка, Эсмеральда «Золотого» квартала вполне могла бы сделать оглушительную карьеру в Голливуде, будь она не такой хорошей дочерью.

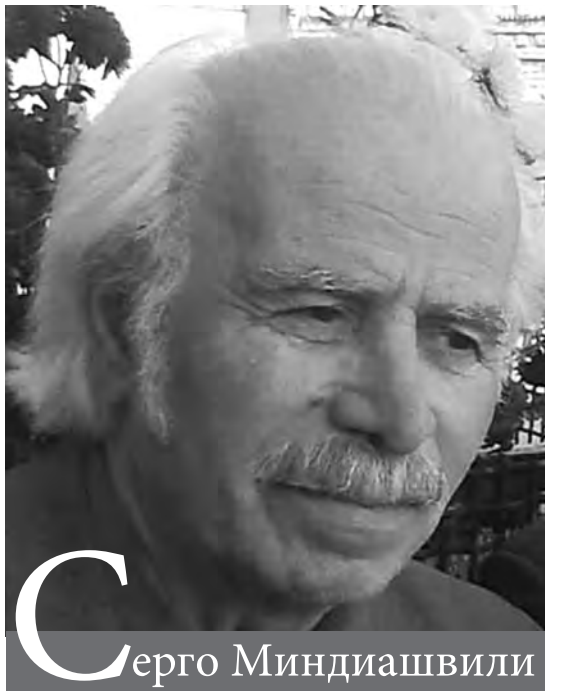
– Шушик, – с презрением говорила ей тётя Сируша, – ти сначала роди детей красивее, чем моих, потом учи меня. Посмотри на Степика и Аликушию – и что за коротышки...

Сусанна покорно соглашалась: и в самом деле, ее бесподобные мальчики все-таки не шли ни в какое сравнение с ней самой и ее братьями.

Она всегда шла в готовности встретить настоящую любовь и часто ошибалась.

– Ты похожа на Шер, – сказала я ей как-то, думая, что делаю комплимент.

– Что ты говоришь?! Терпеть её не могу, – надменно ответила великолепная Сусанна и отправилась искать капитана Феба...



Серго Миндиашвили

Родился в 1940 году. Работал переводчиком на радио и редактором книжного издательства «Иристон». Автор десяти стихотворных сборников, писал на осетинском и грузинском языках.

В 2011 году издал сборник «Смерть соловья», в который вошли стихи, переведенные на английский язык его другом, английским поэтом и переводчиком Уолтером Мейем. Умер 20 сентября 2011.

Жил в Цхинвале.

Я – Мост

Ну да, устаю я, конечно,
Попробуй ты сам, так постой!
Путем протянулся я Млечным
Меж небом и нашей Землей.
Терплю я…
Но разве терпенье
Всегда означает покой?
В крови моей вечно кипенье
Двух наций,
чей сын я родной.

Я мост меж Землею и Солнцем.
Грузин я и
осетин, –
Стоять мне навеки придется,
Чтоб братья не сбились с пути.
Не дам себялюбцам проходу!
Я знаю,
я верю,
что тут
Два брата – два дружных народа –
К высокому счастью пройдут!

Перевод с осетинского А . Грекова

Дороже всех наград

Лень снова на плечах моих повисла,
А мысли черепахами ползут.
Стемнело…
И луна глядит без смысла
В мое окно.
Часы бегут, бегут…
А мысли черепахами ползут.
Застыло сердце –
Стынет кровь, и скоро
Устало ручка выпадет из рук.
В лесу вороны раскаркались хором.
Пошли, на них, о Боже, мой недуг!
Устало ручка падает из рук.
Сорви с себя, о тело, руки лени!
Лети вперед, вперед,
моя мечта,
Тропой незнакомой,- тропой оленьей,
Свети мне снова ярко, как звезда!
Лети вперед, вперед, моя мечта!
Нас ждет гора,
А на горе – темница,
В темнице той – дочь Солнца, Земфират.
Глянь, цепи лени я срываю с плеч,
Пусть вороны мне хором зло пророчат!
И рассекает мысль моя, как меч,
Пласты тумана и покровы ночи.
Пусть вороны мне хрипло зло пророчат.
Бряцайте громче, вороны, на лирах!
Увидеть даже Земфират портрет
Вам не дано. А выше счастья в мире -
Я знаю точно – не было и нет!
Лети, Мечта!
Все ближе с каждым часом
Мы к цели,
что синеет без оград…
Еще – рывок!

Достигнем мы Парнаса,
Где ждет нас
С нетерпеньем Земфират,
Чей скромный взгляд
Дороже всех наград!

Мечты о цветопредставлении

Я покрашу целый свет
В мой любимый цвет,
А прекрасной дочки очи
Я покрашу цветом ночи.

Красным я покрашу горе,
Синим –
небеса и море,
Желтым я покрашу ложе
И
свои надежды тоже.
Волосы – в зеленый цвет,
Зелени красивей нет.

Сил мне дай мечтать
И все же…,
Подсоби в трудах, о, Боже!

Перевод с осетинского Николая Горохова

Старик-осетин меня наставлял

- «Если мужчина ты настоящий,
Должен всегда ты мужчиною быть.
Словом,
как острым кинжалом
разящим,
В праведном должен бою победить.
Ум закаляй свой,
чтоб мысли, как стрелы,
В нужную цель без промаха били.
Именем предков кичиться - не дело,
Хитростью славу ищет бессильный.
Если не сможешь пройти ты, как воин,
По жизненным трудным дорогам
тернистым,
Прах твой оплаканным быть не достоин
Слезами красавиц родов осетинских.

Если же ты принесешь, не колеблясь,
Жизнь свою в жертву горам
седоглавым –
Лучшая девушка наших ущелий
Пусть в твоем доме окажется славном!»

Перевод с осетинского Людмилы Серостановой

В горах отчизны

Небо родное впервые здесь я увидел,
И солнце вставало в горах по утрам.
Здесь я впервые столкнулся с лавиной,
И первое слово было к горам.

С детства я черпал из родника,
Немало горных троп исходил.
Первая здесь зародилась строка,
И песню свою я горам посвятил.

Родины камень к губам прижимал –
Обнять эти горы никак я не мог.
Взору великий Коста представал
Во всей красоте своих трудных дорог…

Думалось гордо тогда мне в горах:
Сумевший вершины душою обнять,
Воспевший отчизну в прекрасных стихах,
Заставивший землю тем песням внимать,
С людьми говоривший на всех языках –
Вот кому я мечтал подражать!

Перевод с осетинского Николая Горохова

Родилась в 1982 году. Работает журналисткой в медиа-центре «Ир». Увлекается фотографией. Художественную прозу публикует впервые.
Живет в Цхинвале.

Заблудившаяся душа

Теплые струи дождя смывают следы соли с моих щек. Они целуют меня вместо тебя.

Я долго гуляла под дождем и заблудилась в его жемчужных нитях. В какую сторону мне идти? Я пошла вперед и немного вправо. Там, под черной липой, с точно таким же зонтом, как у меня, стоял ты. Стоял и улыбался. Ты увидел меня много раньше, чем я, просто я шла вперед и немного вправо. Может, сердце знало?

Ты предложил мне укрыться под твоим зонтом. Мой остался висеть на нижней ветке липы. Я бросила его, и сегодня мне от этого больно. Но тогда счастье было гораздо больше. И мы шли на запад и немного вперед.

Странно. Ты увел меня своей дорогой, но я даже не задумалась об этом. Я верила, что и сама бы выбрала эту дорогу. У меня промокли ноги, мне стало холодно, но ты был рядом, и это было важнее. Мы молчали, и в этом молчании было так тепло. В глубине твоих глаз отражались мои мысли. В линиях твоих ладоней была написана моя судьба.

А дождь…

Дождь был так мил. Он вежливо постукивал по нашему зонту в ритм собственным мыслям, выводившим autumn leaves трубой Майлза Девиса. Дождь, как настоящий англичанин, ни в коей мере не хотел нарушать наш покой. С завершающей нотой осенних листьев последняя капля дождя разбилась о мою ладонь, а в серо-голубом небе появилась радуга.

В глазах померкло от света.

Ты зашвырнул зонт куда-то далеко на север. Ушел к этому семицветному чуду. Я хотела идти за тобой, но вы оба растаяли. Ты – в чужом будущем, она – в моих небесах. И я осталась одна. Но ненадолго. Снова пошел дождь. Дождь горьких расставаний. В его струях пытаюсь найти дорогу к тебе или хотя бы домой, но серые нити молчат. А за ними ничего не видно…

Ангел-хранитель

Разве не больно стоять на краю?

Мне – да!

Расколотое лицо ребенка. Противный запах. Все молчат. Две-три беременных с подружками, с мамами. Весело щебечут. Остальные молчат. Исподлобья смотрят на чужое счастье. Отводят глаза. Слишком больно.

Напротив справа туалет. По просьбе кого-то в белом халате женщина встает, заходит туда и затем растворяется в дверях противоположного от меня кабинета.

Таких как я, пришедших сюда впервые, можно узнать по глазам. Они их прячут, как будто в глазах отражается состояние не только нашей души, но и нашего тела. Боюсь, что кто-то прочитает, что вот уже пять недель… вздыхаю. Смотрю на кончики своих туфель. Стараюсь не смотреть на этот плакат. Расколотое лицо ребенка. Надпись: «Аборт – узаконенное детоубийство?»

Быстро отвожу взгляд. Больно.

На одной моей туфле царапина, надеюсь, никто не заметил.

Под тем плакатом сидят три женщины. Беременная, ее мама (судя по разговору), и девушка, которая явно кого-то ждет. А может она, как и я… Нет, слишком широкая и слишком открытая, без ухода в себя, улыбка. Она улыбается словам сидящей рядом женщины: «Незамужним сюда приходить нельзя» - назидательно говорит та своей дочери. Заметив улыбку девушки, спрашивает ее: «Что, не замужем?» - та согласно кивает: «С подругой пришла». Кажется, женщина немного смутилась, но все же продолжает: «Я вот выкроила время, и сама пришла со своей дочкой, а то она хотела идти сюда со своей незамужней сестрой. А незамужним сюда ходить нельзя!» - косой взгляд в сторону девушки, а та улыбается еще шире: «Почему это нельзя?» Женщина качает головой: «Нет, нельзя. Это позор. Что скажут люди, которые тебя здесь увидят…» (Как ножом по сердцу). Но девушке смешно. Тут выходит ее подруга, они вдвоем направляются к двери. Девушка рассказывает ей, что незамужним нельзя приходить к гинекологу. Ее веселый смех стоит в моих ушах.

Почему она так может, а я нет? Почему ее не волнует «что скажут люди», а я в темных очках? Почему она уходит, а я сижу здесь?

Столько почему…

Мысли отвлекают, и тут, как удар под дых, взгляд на противоположную стену. Расколотое лицо ребенка. Надпись: «Аборт – узаконенное детоубийство?»

Можно посмотреть и с другой точки зрения: аборт – уничтожение яйцеклетки и сперматозоида. А их каждый день гибнет в таком количестве, что можно было бы заселить все планеты солнечной системы, и не только. Впрочем, и детей умирает не меньше… – пытаюсь смотреть на этот мир циничнее.

НЕ МОГУ!

Я его убиваю и не могу найти себе оправдание.

Я так его люблю. И я сбегаю.

А в голове проносятся картины будущего, и отец, и мать, и все люди… Но почему-то это уже не так страшно, как вчера ночью. Гораздо страшнее расколотое лицо ребенка, моего ребенка. И пусть у него не будет отца, но у него будет жизнь. Вспоминаю улыбку девушки, с какой легкостью она отмела предрассудки той женщины. Пытаюсь улыбнуться так же – ведь я будущая мама!

Октябрь 2006

Семен Пегов

Родился в 1985 году. Тележурналист. Публиковался в российских альманахах «Под часами», «Персона» и «Современники». Лауреат Пушкинского фестиваля «С веком наравне»-2008. Участник Форума молодых писателей «Липки-2011». Живет в Сухуме.

Сказка на ночь

Засыпал как будто курок на взводе,
Сначала извёлся телом, потом извился,
Разливался свет по закону, что нет в природе -
Ангел, наверно, какой-то в мой дом вселился.
Но тосковалось вовсе не по тоске вселенской -
Тайны как раз-то выстроились на поверхность,
Потому не хотелось совсем анестезии мерзкой
И обещаний хранить тебе суеверность.
Кто ты такая, в общем? Но, в общем, слушай,
Раз уж тебе не свезло, чтобы меня услышать:
«Может, не будем снова лазить друг другу в душу?
Ясно же кто, чем дышит.
Не хотелось всуе, но всё же - побойся Бога.
Сколько таких иисусов в миниатюрах...
Сказано много? Это ещё немного.
Много нас душевных по плотским тюрьмам...»

Мысленно для тебя вот такие пишу пассажи,
Даже если ангелы в доме разводят свет.
Мысли мои просты, жить - это просто также,
Как, например, умереть во сне.

***

Если это раскручивать - не раскрутишь,
Ни повлиять не получится, подавлять
Всё равно не получится. Будешь? Буду.
Всё это было. Не до тебя.
Можно, конечно, выжить одной тобой,
Несмотря на сердечный гул, суеверный рёв,
Всё равно же в итоге наступит такой покой -
Вены мои сожжёт, артерии разорвёт.
Соберёшься в итоге с мыслью, а слов уж нет,
Или язык не вывернешь произнести,
Разве что напоследок поможешь мне
Землю в волосы заплести.

***

если в глобальном смысле мы все слепцы
без всяких аллюзий и по-библейски в лоб
если кто-то видит на небе большие псы
это всё не про нас это не про любовь
пуля-дура родина-мать а судьба-слепа
разве мы не на этой вращались всегда оси
потому что судьба потому слепа что она судьба
и поэтому главное здесь - не ссы
дорогу осилит ползущий на четверень-
ках как нам завещал пророк
потому что судьба слепа потому-то судьба есть рок
рокочущий но невидимый каждый день

***

Я открою тебе внутренний мой озноб.
Я теперь понимаю, что был иногда не прав.
Нужно было молчать, когда не хватало слов,
И не выпрашивать лишний глоток тепла.
Если тепло уйдёт и высохнет вся вода,
Было бы хоть чуть-чуть внутренней пустоты,
Но пустота не приходит ко мне одна
И не даёт окончательно мне остыть.
Внутренний мой озноб разбивает лёд.
Форма теченья - согнутая вертикаль.
Если из нас двоих кто-то меня поймёт,
Жить тому завещаю в центре материка,
Чтобы не дотянуться ни до морской волны,
Ни до обрыва трогательных этих скал,
Чтобы мысли и чувства были всегда полны
Невыразимой тоской, рассыпчатее песка.
Лучше не видеть моря. Оно забирает всё.
Может, любимая, даже забрать любовь,
Унести меня. Правда, это ещё не всё -
Слишком много меня к тебе попадало в кровь.

***

Знаешь, любимая, я с вечера перемечтал,
Новых образов, всякого будущего понабрался.
Говорили мне - не мешай, а я вслух читал,

Против русского языка боролся.
Заливался словарь, я его на руках качал,
Точно годами нажитое богатство,
Но он мою колыбельную перекричал,
Утверждая собственное господство,
Моё подвергая сомненью к тебе причастие
И заставляя любой разделяющий нас километр
Переболеть внутри, перемалывать час за часом
Корневую систему пространства. Ну, например,
Где-то снова из семени деревце произросло,
И в этом вроде нету моей вины,
Но каждое воскресенье чувствую себя словно
После седьмой мировой войны.

На берегу

Запах гнилого моря, как вздох Аида.
Море гниёт тогда, когда Посейдон болеет.
Ближе к старости у богов ломит кости, болят суставы.
Ближе к осени, как правило, обостренье.
Мы сидим у причала. Случайный полёт флюида.
Он, пока долетит до нас, околеет.
И приходится переступать через внутренние заставы,
Чтобы в себе преодолеть растенье.

Перерасти в себе октябрьский бунт каштана,
Иначе врастёшь в асфальт, как минимум, по колено,
Постепенно уснёшь, пустишь корни, срастутся веки,
Из пупка весной пробьются первые листья.
Я смотрю на неё. Она так прекрасна, что это тайна.
Тепло просачивается через каждую её клеточку.
Из-за этого моя жизнь разделяется на два смысла:
Жажду смерти и желанье уйти в абреки.

Бывают такие люди, напоминающие обряд.
Находясь с ними рядом, испытываешь покой.
Возвращаешься к жизни и не помнишь, кто ты такой.
Они возвращают тебе самого тебя.

Ты мечтаешь очнуться на каком-нибудь западном фронте.
А она напротив сидит, упуская тебя из виду,
И не хочет совсем догадываться до правды.
Лихорадит море. Пустеет берег. На этом фоне
Боги стареют и в итоге все попадут к Аиду.
Аид не скрывает своей досады.

***

Я хочу плыть точно эта песня
Давай ты будешь как Ярославна
Мы не будем вместе и это славно
Понимаешь мы точно не будем вместе
И это славно что я расслаблен
Что я расплавлен выжат дожат исчерпан
Я пустее камня гуще земли и неба
В тело в собственное задавлен
Вдавлен опустошен противен
Обладаю большим количеством качеств
Я надкусан я как будто бы обозначен
И я примитивен ну да примитивен
Я проще слона и проще того примата
Что бьёт себя в грудь и сродни кинг-конгу
Я похож на барабанную перепонку
Я дрожу когда стреляют из автомата
Я часть системы послушно-голосовой
Я почти оглох и не верю своим ушам
И в мире наверно теперь ни одна душа
Не перекричит мой внутренний саксофон
Нету мира вокруг или он молчит
Потерял дар речи и просто сдох
Я оглох совсем или почти оглох
Но если получится то кричи
И если получиться перекричать
Я конечно буду тебя душить
Но потом уткнусь зацеловав ушиб
Губами в поверхность твоего плеча

***

Я не знаю тебя, но представляю ясно,
То ли душа представляется, то ли внешность,

Немота или голос такой долговязый,
Тёмная из него выглядывает кромешность.
В этой тени чувствуется человек,
Перфоратором месит будущего раствор.
Он стоит вверх ногами как бы на голове
И умирает каждое Рождество.
Это явление в покое не оставляет
И намекает тонко: «В церковь тебе пора бы».
Что-то во мне ломается, не молится, умоляет.
Меня окрутила, стянула упрямейшая парабола -
Последнее слово я называю первым,
Первая нелюбовь – та, что любовь вторая.
Тень надо мной растёт, как восемьдесят гипербол.
Я делаю всё, что угодно, но только не умираю.

Жрец

1.

Не наместник от римских импер,
Семь святилищ ему за глаза,
Рядовой себастопольский жрец,
Одного из колен абазин,
Током крови семи атмосфер –
Он ведом сквозь леса, сквозь леса
И дремучей напевностью жертв,
Наполнялись душа и кувшин.

Вот валун, рядом садик камней,
Сердце буйвола посох проткнул,
Он его поднимал к небесам
И молился, и посохом тряс.

А князьям, что ни плоть – понежней,
Разливалось вино на страну,
И язычество шло по глазам,
По рукам и по трещинкам язв.
И спускался обратно в свой дом,
Где опять за набегом набег,
Гладил скалы, от моря устав,
От турецких и римских речей.
Он небесной оброс бородой,
Как языческий человек,
Гнёзда змей огибал неспроста,
И землёю кормил ручей.

2.

Справа Питиус, слева Колхида,
А по центру Диоскуриада,
Языки, имена, времена,
Как приправы, как шёлковый путь.
На краю вымирания вида,
Как бескровных сестру или брата,
Оберег на руно разменять,
Точно семя на яд или ртуть.

Но не начал невыгодный торг,
Он от крови хотел откровенья,
И нелепее эпикурейца,
Даже ухо к руке приложил,
И услышал, что будто пророк,
Переживший, четыре раненья,
На кресте сокровенное тельце,
Как спасение провозгласил.

Тут же вспомнил рассказы детей,
Что в окрестностях Анакопии,
Ходит-бродит, как будто юрод,
Полудикий и простоволосый,
И читает настойчиво текст,

Что мы много грехов накопили,
И в пещерный скрывается грот,
Ну, и кто он? Сказал, что Апостол.

3.

Снова кровь разлита по самшиту –
Не по нраву перечащий горцам.
Даже тон осторожный жреца
Не помог чудаку чужестранцу.
Он бубнил, что Господь всем защита,
Даже варварам и богоборцам,
Даже смерть – это воля Творца,
И его умертвили не сразу.

Жрец стоял, изумляясь тому,
Сколько тьмы, что в народе отжата –
Чужестранца пытали у граба,
В чьих кореньях скрывался божок,
Представляя природу саму,
То есть то, что вроде бы свято.
И к земле, где случилась расправа,
Прикоснулся и руки обжёг.

Здесь теперь почти каждый крещён,
На святилищах – храмы и службы,
«Отче наш» – на наречии горском,
Распевает под сводами хор.
Век жрецов как бы здесь обречён,
Но мятежны спасённые души,
И церковным не стянется воском,
Между кровью и Богом зазор.

Родился в 1966 году. Учился в Тбилисском, Лондонском и Мадридских университетах. Автор 14 книг, в том числе нескольких бестселлеров, его произведении переведены на 7 языков. Известен так же как переводчик с испанского и английского. Альпинист и путешественник.
Живет в Тбилиси.

Мы подружились сразу, как только познакомились.

– Я ирландец, – сказал он и крепко пожал мне руку.

– Я грузин, – улыбнулся я и спросил, сколько ему лет.

– Скоро шестьдесят, – он поднес руку к глазам, чтобы солнце не мешало, и взглянул на вершину.

На вершину в этом возрасте уже не ходят. Он догадался, почему я спросил, сколько ему лет, и смело, с улыбкой повторил:

– Я ирландец...

В первый же вечер он засунул голову к нам в палатку и пригласил к себе. Я познакомил его с Падошей, и мы вылезли из спальных мешков. Безмолвно шли до кухни американцев и сказали всем общий привет.

– Это американцы, – громко представил Джонатан свою команду и тихо, чтобы слышали только мы, добавил:

– Я же, вы знаете, ирландец...

Мы с улыбкой сели за стол и с удовольствием выпили тосты за свои страны и за Аргентину. Виски был очень вкусным, но я выпил только один неполный стакан. Падоше больше меня была приятна желанная жидкость; я прикрыл ладонью его стакан, так как заметил, что он собирается пить до утра. Утром, если распогодится, они должны были начать поход к вершине, и я сказал ему по-грузински, чтобы он хоть ложку положил. Он не сопротивлялся и положил на американский стол и ложку, и стакан.

Ночь была ярко-светлой, и серебряная в лунном свете Аконкагуа ничего нам не обещала. Ничего, потому что в горах погода меняется за мгновения, и мы с сомнением смотрели на аргентинское небо, усеянное звездами. Хотя для точности, небо здесь общее, и Анды - естественная граница между Чили и Аргентиной.

– Если будет хорошая погода, с вершины увидим океан, – сказал Падоша прежде, чем залезть в палатку.

– Да, – сказал я и позавидовал.

– Если бы вы все-таки взяли меня с собой, – все же сказал я на всякий случай, когда уже тепло укутались в спальниках.

– Э! – Только удивился Падоша и включил радио.

Я больше ничего не говорил. Слушал испанские песни и старался уснуть. Слово, которое чаще всего слышно в любой испанской песне, это „corason», что означает сердце, – обнаружил я и уснул.

Утро, к нашему удивлению, стояло светлое. Погода безветренная. Я высунул голову из палатки. Наши сидят вокруг чайника и с шумом потягивают чай с лимоном.

Идете? - спрашиваю по-английски во всеуслышание.

– Si, vamos, – за всех отвечает Кике по-испански и поднимает вверх большой палец.

– Хорошая погода, – соглашаюсь я с Кике, и утреннее солнце мне особенно приятно.

Медленно надеваю ботинки и бегу к туалету. По ночам страшный холод, и желание мочиться несколько раз будит меня, но выйдешь - и останешься бездетным. Поэтому терплю до утра и бегу с обеспокоенным лицом к сортиру азиатского типа, построенному на высоте четырех тысяч семисот метров. Опытные альпинисты в таких же целях, не выходя из палаток, используют бутылки из-под молока. Мне как непрофессиональному скалолазу в темноте трудно целиться, и я должен терпеть до утра – другого пути нет.

– Знаешь, ведь ты должен подняться первым! – напоминаю я по дороге Падоше.

Знаю, что он первым поднимется на вершину, он и сам это знает, и меняет тему разговора:

– Если спустишься в деревню, должен сказать, чтобы мулов для груза привели ровно через пять дней...

Мыть лицо и руки в ледяной воде – ужасно, чистить зубы – ад. Но оживляет.

– Продукты в палатке Першина. Если у французов кончатся, отдай из нашей доли, – говорит мне Падоша и надевает рюкзак.

Я выношу знамя из нашей палатки. Он заботливо складывает его и кладет в передний карман рюкзака.

– Хотя бы сменили, – говорит он ворча и указывает на знамя.

– Родину не сменишь, – успокаиваю я и, поднимая руку, приветствую Джонатана.

– Подожди, кажется, пришел нас провожать, – говорит Гия и замедляет шаг.

Джонатан правда провожает нас. Приближается и еще раз приветствует нас, поднимая руку.

– Hi, grandfather! – Я тоже приветствую его и замечаю, что такое приветствие его отнюдь не обижает.

– Будь осторожен, – говорит он Подоше и желает успехов.

– Гия, первым должен подняться ты, – говорю я ему с очень серьезным лицом и целую.

Стоим и смотрим, как поднимаются десять альпинистов по тропинке, идущей к вершине.

Стоим и провожаем – я и мой ирландский друг, который мне годится в дедушки и, что главное, не обижается, когда я к нему так обращаюсь.

– Если хочешь, пойдем со мной, – предлагает он мне вдруг, – я должен взять лекарства у врача.

Палатка врачей в конце базового лагеря, и я с удовольствием иду с ним - я и для себя хочу таблетки. Голова больше не болит, уже привык к высоте, но все же.

Перед палаткой нас встречает Педро.

– Какая погода на вершине? (У Педро есть рация, и он служит связным между горами и долиной).

– No buen, - он с сожалением качает головой.

Берем лекарства и, как условились, к полудню опять встречаемся друг с другом у палатки врачей. Медленно, без спешки, идем к маленькому озеру за ледником.

Надев кошки, мы перешли довольно широкий, опасный ледник с трещинами. Когда ледник кончился, мы сняли кошки и начали спускаться к озеру. Сели у берега и стали жевать шоколад. Предложили и польской девушке, которая пришла раньше нас, но она вежливо отказалась, там же, в десяти шагах от нас, сняла все с себя, зашла в воду и стала плавать. Сначала меня удивила температура воды, только потом я обратил внимание на ее наготу.

Джонатан улыбнулся и взглянул на меня. Я протер себе глаза и окончательно убедился, что в Польше реформы прошли с успехом... Мой друг лежал лицом вверх. Я уже не помнил, спрашивал ли, сколько ему лет, или нет.

– Скоро шестьдесят, – я уже говорил.

– Да, говорил, – вспомнил я и удивился, что обращался к нему на „ты», и ни один из нас не чувствовал неловкости из-за этого.

Джонатан приподнялся и посмотрел в сторону озера. Я тоже посмотрел - девушка была уже одета и, подняв руку и улыбаясь, прощалась с нами.

– Ты тоже иди, – сказал он вдруг.

– Куда? - спросил я между прочим и помахал рукой польке.

– На Санта-Елену, - сказал он мне, а девушке же – Осторожно переходите через ледник, – крикнул вдогонку.

Я сначала посмотрел на вершину и потом повернулся к Джонатану.

– Это она - Санта-Елена.

– Знаю.

– Так пойдем, если знаешь.

– Подумаю.

– О чем?

– Пойти или нет.

– Никогда об этом не думай.

– Почему?

– О вершине не надо думать.Должен подняться и поднимешься.

– Поднимусь?

– Поднимешься. Если я поднимаюсь?

– Ты ирландец. Что может для тебя быть трудным?

Джонатан улыбнулся. Я вспомнил, что „You» по-английски означает и „ты», и „вы», и когда я говорю с ним на „ты», может, он думает, что я говорю на „вы». Вспомнил, но ничего не сказал своему пожилому другу, хотя собрался:

– Grandfather...

– Что?

– Ничего, завтра скажу.

Он улыбнулся так, как улыбался лишь он один, и добавил, что вечером должен побриться.

Шли безмолвно, и только у палатки американцев я сказал кратко „Buenos noches»...

Я не спал. Лежал в палатке, слушал радио и думал, что делать. Радовался, что у меня абсолютно нет потребности курить, и читал испано-английский словарь. Не было смысла учить новые слова из-за высоты и из-за главного - мне надо было подумать, как мне поступить утром. Решение принял сразу, потушил фонарь и закрыл глаза. Постарался не думать ни о чем и стал думать обо всем. Не помню, когда уснул. Помню утром улыбающееся лицо Джонатана и вопрос: „Что решил?» - „Через десять минут буду готов», - подмигнул я. „Жду у нашей палатки»,- сказал он и стал спускаться. Зачем мне нужно было десять минут, за пять минут я собрал весь багаж и сложил палатку. Единственное, о чем я пожалел, было зря потраченное время: для принятия решения нужно утреннее мгновение, а не бессонная ночь и сомнения... Несмотря на бессонницу, я все-таки чувствовал себя бодро. У меня не было права быть слабым: в американской группе, идущей к вершине, из семи человек я был единственным грузином, и, как говорил Гурам Дочанашвили, это обязывало меня ко многому…

Однако, было одно исключение, конечно, Джонатан, мой ир-

ландский дед, который еще раз напомнил о своем происхождении, и я еще раз подтвердил, что знал об этом. Более того:

– Мы родственники – грузины и ирландцы, – сказал я неожиданно и остановился. Снял рюкзак и сел на него. Базового лагеря уже не было видно. Джонатан тоже остановился. „Догоним вас», – посмотрел он на идущих впереди и улыбнулся своей неповторимой улыбкой.

– Шутишь?

– Нет, - покачал я головой и еще раз почувствовал, как хороша жизнь без никотина. Его я тоже посвятил в свое открытие.

– Я никогда не курил, ничего не могу тебе сказать, – сказал он и встал. – Не будем слишком отставать, – он надел рюкзак и прикрыл рукой глаза, чтобы не мешало солнце. Погода была прекрасная.

Я тоже встал.

– Пойдем и расскажи по дороге, когда породнились грузины и ирландцы.

– Наоборот.

– Что наоборот?

– Переселились из Грузии давным-давно.

– В Ирландию?

– Нет, сначала в Испанию, потом – к вам.

– И испанцы наши родственники?

– Нет, баски...

Моя версия, конечно, вызвала улыбку у Джонатана, и я тоже не стал настаивать. Более того, уже не стал объяснять, что мои предки, пришедшие сначала в Испанию, а потом в Ирландию, и океан пересекли и создали именно ту культуру, которую мы называем ацтекской. Кроме того, что не он поверил бы, я почувствовал и то, как по время ходьбы в горах не только одна фраза или предложение, но даже слово утомляет и истощает организм.

Шли безмолвно. Шли тяжело и долго. Кошки не понадобились и после обеда, и я радовался этому. Хотя мы скорее перекусили, чем пообедали, но у меня все- таки участилось дыхание. Я остановился из-за ритма, который есть только у меня. Мой единственный ритм. Мое единственное дыхание, которое должно совпадать только с моим шагом, и поэтому я не тороплюсь. У всякого человека есть единственные, неповторимые, отличные от других шаг и дыхание, в том числе и у тех, кто идет впереди меня. Отставание меня совершенно не беспокоит. Наоборот, в сумерках, когда я прихожу, я нахожу уже устроенным маленький двухпалаточный лагерь, и суп тоже горячий. Здесь, в горах, уставшему и истощенному телу ничего так не приятно, как горячий

суп, потом чай, и небо, усеянное звездами...

Но перед палаткой мы оставались недолго. Пожелали друг другу безветренной погоды и влезли в спальники. Кроме Джонатана, с нами спал еще один американец. Остальные расположились в большой палатке. Перед сном Джонатан еще раз выглянул наружу и маленькими глотками выпил какую-то жидкость.

– Что это такое? - Спросил я между прочим.

– Лекарство.

– От чего?

– От геморроя. Ты же знаешь, что я ирландец, а у каждого настоящего ирландца – геморрой.

– Беспокоит всех?

–Девяносто процентов.

– Говорил же, что мы родственники, – присел я искренне обрадованный.

– И грузин беспокоит? – Расширились у него глаза.

– Выдумано нами, – сказал я гордо и опять гордо лег.

Джонатан засмеялся.

– Между прочим, и наш фольклор похож, – сказал я более серьезно и закрыл глаза.

– Засыпаешь?

– Хочется.

Правда хотелось, и я вскоре уснул, наверное, из-за усталости. Снов – уйма. Цветных, но грустных. И желание, – как всегда, видеть тебя...

Путь был тяжелым и очень длинным. Я знал, что должен торопиться, но не торопился. Шел медленно, своим темпом, своим ритмом, и верил, что поднимусь.

Знал, что встану на вершину и увижу океан. Первый грузин на Санта-Елене. Вместе со своим другом, со своим ирландцем. Главное было подняться. Шел медленно. Слышал стук своего сердца и учащенное дыхание. И главное было подняться. Даже если настигла бы ночь во время спуска. Главное было подняться...

Идешь и знаешь, то, что тебе кажется вершиной, лишь призрак, лишь иллюзия. Поднимешься на то, что тебе кажется вершиной, посмотришь наверх и убеждаешься, что до вершины еще далеко. И должен идти и думать ни о чем, потому что ни о чем не сможешь думать, потому что чувствуешь только пустоту, и вокруг удивительная тишина, какая бывает только в горах. Может, именно из-за этого рвешь нервы своей семье, ждущей тебя дома. Может, именно из-за этой тишины.

Только в горах.

Я поднялся последним, совсем последним. Джонатан улыбнулся мне и обнял меня точно так, как обнимают дедушки своих любимых и дорогих внуков.

– Я поднялся первым, – сказал Джонатан с расстановкой, медленно.–

– Знаю, - вздохнул и я, – ты же ирландец.

Джонатан улыбнулся и из рюкзака вытащил знамя Ирландии.

– Наше взял Падоша, - повернул я голову в сторону Аконкагуа и в знак поздравления крепко пожал руку остальным американцам.

– Мы должны поторопиться со спуском, – сказал один из них. Сфотографировались вместе и поодиночке.

– Во время спуска не снимай с себя кошки, – сказал Джонатан, приветствовал поднятием руки и начал спускаться.

Я и не думал снимать кошки. Удивился, почему он подумал, что я буду так рисковать. Несколько минут спустя я остался один и сел на корточки. Океана не было видно, но мне показалось, что слышен шум волн, и я прислушался. Прислушался и понял, что если останусь еще немножко, даже верблюды Ираклия Ломоури пройдут мимо меня. Надел рюкзак и начал спускаться.

Во время спуска вспомнил вопрос, с которым журналисты обращаются к альпинистам: «Что вы чувствовали на вершине?», – спрашивают и не знают, что у этого вопроса нет ответа, потому что ничего не чувствуешь, вернее, чувствуешь то самое что-то, которому имя „ничего». Может из-за этого „ничего» ходят в горы. Кто знает?..

Во время спуска я двигался, естественно, гораздо быстрее. Легкие и мозг жадно почувствовали кислород, и земная мысль постепенно вернулась к разуму. Я еще ускорил шаг и догнал Джонатана. Лицо у него было усталое и немного испуганное.

– Первый случай для меня, – сказал он мне, приложил правую руку к сердцу и в знак удивления вывернул нижнюю губу.

– Я перенес инфаркт, – как мне казалось, подбодрил я его, – ничего страшного.

– Серьезно?

– -Серьезно.

– У тебя был инфаркт?

– Микро...

Он подмигнул мне. Конечно, не поверил и встал.

– Но, я, ты же знаешь, ирландец по происхождению.

– Знаю.

До сумерек мы не отдыхали. Только один раз присели и освободились от кошек. Спускались быстро, но все-таки опаздывали. У меня болели ноги, но я все равно не чувствовал усталости, не знаю, почему. Ночь настигла нас в узком ущелье, но мы все-таки успели выбрать место для палаток, до деревни было максимум пять часов ходьбы, и я радовался, что на другой день смогу принять душ, выспаться в постели и вечером полакомиться рыбой и овощами. Радовался, что перестал курить, что имею друга, которого обязательно приглашу в Грузию, чтобы подняться на Казбек. И радовался главному – мы вместе поднялись на Санта-Елену, такую прекрасную и особо дорогую для меня.

Перед сном мы долго беседовали. Сидели в палатке и с шумом потягивали горячий чай. Потом тепло укутались в спальниках, и я удивлялся, почему не хочется спать, несмотря на страшную усталость. Лежали и беседовали. Говорил в основном Джонатан, я молчал и слушал. Он рассказывал о своей семье. „Когда приеду домой, – говорил он, – должен уговорить жену и родить ребенка на старости пет». Я улыбнулся, и что нового он мог сказать: „Ты же знаешь, я ирландец». И вдруг умолк.

– Тебе плохо? – Я поднял голову.

– Не бойся, не умру, я же ирландец, – сказал он непривычно громко и умер. Замолчал и умер. Я и утром так подумал, и сейчас уверен, что он умер именно в ту минуту. Аргентинская полиция меня допросила, и чилийская тоже сняла с меня показания, но я в обоих местах сказал, что только утром обнаружил, что он скончался. На самом деле я сразу же догадался. Догадался, что он умер в ту минуту, когда произнес последние слова, но испугался, что мне придется провести ночь вместе с мертвецом. Все-таки пришлось. Я лежал, и рядом со мной лежал мой скончавшийся друг, мой ирландский дед.

Не помню, как я спустился в деревню. Тело Джонатана перевезли в Сантьяго. Но помню, как стоял на границе Аргентины и Чили, курил сигарету и провожал в последний путь его останки лишь я один – его единственный грузинский друг.

Опять декомпьютеризация

Интенсивными научными наблюдениями установлено, что таракан перерабатывает полученную информацию в десять раз быстрее, чем человек. Это подтверждает, что технический прогресс (с компьютеризацией) ничем не обогатил человека, и главным и первым для него является опять же духовное развитие.

В наш век меньше всего заметно как раз стремление к духовности...

Что мучило отца Гамлета?

Весь мир подхватил новую сенсацию американской прессы: оказывается, в Белом доме до сих пор блуждают тени давно скончавшихся президентов.

К кабинету и креслу, очевидно, ужасно привыкаешь – если уж вкусил, всю жизнь должен мучиться, и, как недавно выяснилось, не успокоишься и в могиле.

За потерей должности же может последовать такая «ломка», которая ни одному наркоману и не снилась. Поэтому нельзя и близко подходить ни к какому креслу, тем более что в мире не существует такого кабинета, сидя в котором, можно хотя бы на восход солнца смотреть спокойно, со слезами на глазах…

Мой Телави

Кахетинцы – поразительный народ, юмор у них – действительно отборный. Отца моих друзей, Тамрико и Зазы Колелишвили, кахетинцы звали «двуруким Виктором». По той простой причине, что в Телави был и другой Виктор, однорукий. Не могли же они называть его Одноруким – боялись обидеть...

Мысли Элтона Джона

Анна-Мария очень любит животных, что меня безмерно радует (отцовское сердце это все же нечто другое). Как и все дети, она любит задавать бесчисленные вопросы. Однажды как заладила: «Правда ли, что лев – царь зверей? «Да», - ответил я и отвел в зоопарк. По дороге она все не могла успокоиться и раз десять спросила: «Правда царь?» «Да», - отвечал я.

У клетки мы остолбенели – несколько человек держали льва, и ветеринар зоопарка втыкал ему в зад огромную иглу.
Помню расширенные от изумления глаза Анны-Марии и голос сквозь слезы: «Это царь?!»

Георгий Гурджиев

Если верит Гурджиеву, в начале 20-го века, любой тбилисец знал как минимум пять языков, и наш город отличался от других, в первую очередь, вежливостью – даже сверстники обращались друг к другу строго на «вы».

Георгий Гурджиев полмира заставил верить в это, почему же мы не должны верить вышесказанному, даже если это прекрасная ложь…

Если попалась плохая жена

Если повезет, может, и попадется хорошая жена, хотя такое бывает редко, и во всем мире жены, как половинки разрезанного яблока, похожи друг на друга, но и среди них есть особенные ведьмы.

То, что было у моего друга, и женой нельзя назвать. Однажды, сказав жене: «Вынесу мусор», мой друг в тапочках вышел на улицу. И не вернулся. Предполагаем, что он где то в Латинской Америке – в Перу или Гватемале. Точный адрес не пишет, чтобы случайно не попался на глаза жене и она к нему не нагрянула. Она ведь такая, – нагрянет. А ведь мы скучаем, Уже несколько лет, как мы его не видели…

Граф Лев Толстой

Писал: «Ищи лучшего человека среди тех, кого осуждает мир». Поэтому я до сих пор не участвую в выборах…

«Смерть – это еще не конец»
Ник Кейв

В Катманду есть квартал, который называется Брактапур, и где, согласно религиозной традиции индусов, сжигают людей. Сжигают, разумеется, только умерших и прах развевают по воде. Эта маленькая речка впадает в священный Ганг, и близкие покойника до того, как запылает огонь, совершают ритуал, подобный панихиде.

Туристы каждый день присутствуют на превращении человека в пепел. Когда я первый раз почувствовал запах гари, от страха, изумления и беспомощности у меня все тело покрылось мурашками, но потом случилось удивительная и невозможная для меня вещь – так как приходилось каждый день ездить на съемки в Брактапур, на берег реки, я сидел среди близких покойника и писал. Как видно, человек, правда, ко всему привыкает – сидел, писал, и рядом со мной сжигали человека. И запах гари меня больше не беспокоил…

«Блаженны одинокие духом»

Иисус Христос

В Грузии редко в какой деревне я не имею друга. Лично знаю пол-Тбилиси. Много друзей и за пределами нашей страны, и ежедневно с разных континентов я получаю много писем.

Меня никто не видел скучающим и грустным, наоборот, на первый взгляд, я создаю впечатление вполне веселого человека. Но каким бы это ни казалось невозможным, самое разрушительное для меня – сознание своего одиночества…

Гурген Ханджян

Родился в 1950 году. Прозаик, драматург, переводчик, автор одиннадцати книг. Автор сценариев художественных фильмов «Симфония молчания» и «Маэстро». Лауреат нескольких премий, произведения переводились на русский, грузинский, польский, английский и другие языки. Редактор литературной газеты «Гретерт».

Живет в Ереване.

И вот я стою здесь, в этом… Однако не будем спешить, как бы мне не терпелось, событие, я думаю, стоит того, чтобы рассказать о нём обстоятельно с самого начала.

По утрам мне обычно туалетом служит большая комната в полуразвалившемся покинутом доме. Привычка, появившаяся с недавних пор: однажды я случайно обнаружил этот полуразрушенный, отгороженный большими бетонными плитами дом, он пришёлся мне по душе, и с тех пор я посещаю его каждый день. Вообще у меня быстро вырабатываются привычки, я попадаю к ним в плен, такой уж у меня характер. Если, скажем, два дня подряд по утрам я пью вино в одном и том же кафе, то на третий ноги сами несут меня туда. Правда, пример хотя и типичный, но устаревший, так как давно уже я не пью вина в кафе - чаевые там, простите… Однако не будем отклоняться, иначе я могу залезть в невообразимые дебри: мысли мои своенравны, их трудно обуздать, и если дать им волю, то за короткое время они унесут меня в такие дали, откуда не скоро вернёшься. Кроме того, эти дали болезненны, : возникает ощущение, будто мысли волочат меня голым по колючкам. Однако я вновь отклоняюсь; говоря о каждом конкретном случае, нельзя, невозможно касаться одновременно и общего, хотя это, может, и не лишено смысла. Но разве можно ради смысла без конца истязать себя! И потому я расскажу о последних событиях, ставших для меня, возможно, переломными, поскольку я стою сейчас здесь, в этом… Опять забежал вперёд… Послушай, неужели не можешь сдержаться, ну что за безволие!

И вот я стою здесь, в этом… Однако не будем спешить, как бы мне не терпелось, событие, я думаю, стоит того, чтобы рассказать о нём обстоятельно с самого начала.

И так, это было несколько дней назад, точнее, четыре дня назад, я проснулся рано утром, что-то живот у меня разболелся, вздулся - отсутствие зубов обычно вызывало обильное газообразование, конечно, если удавалось что-нибудь поесть. Проснулся, выполз из кустов, вынужденно расталкивая тела моих товарищей - да, именно тела. Если после ночной пьянки они спят вповалку, то это только лишь тела; хочешь ругай, хочешь карманы опустоши- спят без задних ног. Хорошо сказано «карманы опустоши», так ведь карманы у них - если на этих изодранных одеждах вообще сохранились карманы, - за редким исключением, всегда пусты, особенно по утрам. Например, я пользуюсь только одним пиджачным карманом, нижним левым, - признак того, что прежний владелец пиджака был левшой. Кстати, интересно, как поживает этот добрый человек?… прискорбно, конечно, но пиджаки большей частью живут дольше своих хозяев. И так, я выполз, проверил разбросанные вокруг бутылки – увы, они были пусты – нашёл в траве окурок, сунул его в рот и вышел на улицу. Мог сразу же зажечь его, но я люблю курить в комнате, присев на корточки, так сказать, по ходу деятельности. У какого-то прохожего попросил огня. Бросив взгляд на помятый окурок, он достал из кармана пачку, но не протянул ее мне, а сам вытащил сигарету и отдал, сам же и зажигалкой щёлкнул. Да, понимаю, руки у меня грязные, но обычно люди моют руки после туалета, не так ли?

Я присел под дальней стенкой и закурил. Сигарета была хорошая, дорогая. Я страдал запорами, следствие красного вина. Не люблю его, но что поделаешь, не всегда удаётся достать любимую выпивку. Например, я люблю виноградную водку, но это другая история. Устроившись таким образом, я курил и размышлял о жизни, о человечестве. Думал о том, как незаметно человек скатывается в пропасть. Стоит упустить что-то даже в самом незначительном, слегка поскользнуться – и начинается падение, внешне, может, ещё незаметное, но клубок уже разматывается. И если упал, то вновь встать на ноги уже неверо-ятно трудно. Так я размышлял, вообще я люблю размышлять, возможно, это моё самое любимое занятие. Иногда, когда перепадёт немножко денег, беру выпивку, сигареты и спускаюсь в овраг, сижу один под деревом, медленно потягивая вино, курю и размышляю. Когда же возвращаюсь в наш скверик, они разглядывают меня с таким подозрением, будто я лишён права на личную жизнь. Возмутительно! Однако вернёмся к событиям того дня. Закончив дела, я уже собирался подтянуть штаны, как вдруг появился он. Поправив форму и взяв в руки резиновую дубинку, до этого висевшую на поясе, он с решительным видом встал в дверях. В мою сторону не смотрел, казалось, и не замечал меня. Я постоял некоторое время, приподнявшись, затем, придя в себя, подтянул штаны. Мне он сразу не понравился, я решил, что не стоит с ним связываться, и молча подошёл к двери, намереваясь выйти. Но он угрожающе покрутил в руке дубинкой и приказал: «Отойди, быстро! Эй, я тебе говорю!» Я на всякий случай отошёл и спросил: «Почему?» «Здесь пост, и с сегодняшнего дня я поставлен тут часовым», - гордо ответил он. «Вы, наверное, что-то путаете, - сказал я, - это наполовину развалившийся, давно покинутый дом, какой тут может быть пост?»

«Я не уполномочен давать разъяснения, - отрезал он, - сказал “пост”, и всё тут, молчать!» «Согласен, пост, - уступил я, - но разрешите мне уйти с доверенной вам территории». «Ни в коем случае! Приказано никого не впускать и не выпускать». «Обычно не впускают, но выпустить…» - настаивал я. Однако он был непреклонен: «Меня не касается это самое «обычно», я делаю то, что приказано». «Понятно, - сказал я: упорствовать дальше было бессмысленно. - И как долго я должен тут оставаться?». «Пока не закончится моя смена, естественно», - сухо ответил он. «Извините, а сколько она будет длиться, если не секрет, конечно?». «Сколько положено, - сказал он, но затем всё-таки добавил: - Восемь часов. И не пытайся переубедить меня или подкупить, накажу. Так что заткнись». «Вот так беда, - подумал я, - целых восемь часов, голодный, я должен оставаться рядом с этим психом…”» А мои товарищи уже, наверное, проснулись и вышли на заработки, некоторые из них уже прочёсывают ближайшие улицы, а те двое, которым трудно ходить (у одного больные суставы, а у другого кровоточащий геморрой), выложив на асфальт свои измятые шапки, сидят неизменно на противоположных концах смежного с парком тротуара. Я работаю на перекрёстках, мгновенно выбираю из стоящих под светофором машин наиболее внушающих доверие, подхожу и, глядя в упор в глаза моей жертве, говорю, не прошу, просто говорю: «Извините, так уж получилось, что сегодня я крайне нуждаюсь в деньгах, помогите, если вы в состоянии». Из трёх подходов один, как правило, успешный… Потом они пошлют женщин за вином, а я здесь задержан каким-то идиотом. Расскажешь - не поверят. Что поделаешь, я молча сел на камень и краем глаза стал наблюдать за ним. Возмущению моему не было предела. Несмотря на это, я вынужден был признать, что форма очень шла этому психу. Она была совершенно новая: блестящие сапоги, сверкающие пуговицы и бляха. «Что ты так смотришь?» -спросил он, перехватив мой взгляд. «Наверно, недавно поступили на службу», - сказал я. «Тебе какое дело? - неожиданно вспылил он. - Вставай, встань, я сказал! Сидит тут и языком мелет. Встань! Так! А теперь - бегом марш! Ну!» «Ради бога, - сказал я, - у меня больное сердце, мне противопоказан бег». «Молчать! Сказано - бегом марш, выполняй!» - крикнул он и ударил меня дубинкой по спине. Я вынужден был побежать. «Расширяй круг! Так! Быстрее, ещё быстрее!» - приказывал он и время от времени прикладывался дубинкой к моей спине и плечам. Я стал задыхаться, кашлять. «Хорошо, - сказал он, - теперь шагай, руки за спину, вперёд!» Я зашагал, что после бега было особенно приятно. Но через некоторое время опять раздался приказ бежать. И так я то шагал, то бежал. В

полдень мой мучитель подтащил к двери большой камень, расстелил на нём платок и сел. «Пора обедать», - сказал он и из зелёной полотняной сумки, где находился и противогаз, вытащил огромный бутерброд. «Можно присесть?» - спросил я, поскольку не переставал бежать. «Как хочешь, - сказал он, - воля твоя». Я сел на подоконник, в окне не было рамы. Смертельно устал. Не мог вспомнить, когда в последний раз я столько бегал. «Даже не пытайся убежать, - намекая на окно, сказал он, - всё равно поймаю». «У меня и в мыслях нет», - сказал я. Действительно, я и не думал убегать. Он, чмокая, аппетитно уплетал бутерброд.

А я, отвернувшись, смотрел в окно. «Эй, держи!», - крикнул он и бросил мне кусок хлеба: наверное, наелся. А я не могу есть, пока не пропущу стаканчик, слюна не выделяется, но съел, чтобы не рассердить его. Хлеб был пропитан запахом колбасы. Он курил, прислонившись к стене. «Сигареткой не угостите?» - спросил я. «Сразу видно, что профессиональный попрошайка. Перебьешься». Но вскоре он бросил мне окурок, крикнув: «На, кури, пока я добрый». Ненавижу, когда слюнявят сигарету. Лично я, например, не слюнявлю. Я курил и время от времени посматривал на его форму. Наверное, уловив зависть в моём взгляде, он спросил: «Что, нравится?» «Прекрасная форма», - искренне признался я. Он, довольный собой, усмехнулся и взглянул на сапоги: «Сапоги запылились из-за тебя, - сказал, - нет там какой-нибудь тряпки, посмотри». Я вытащил из-под кусков бетона мятый платок и передал ему. Он не взял: «Ты что мне протягиваешь, сам почисть, они же нравятся тебе». Я подчинился. Что мог поделать, это же был настоящий псих. Бока и спина у меня болели от ударов дубинки. Я вытирал сапоги, вдыхая свежий запах кожи. Вдруг перед моим взором ясно возникла мечта моей юности: я, генерал, нет, маршал, стою на высоком пьедестале, а внизу, выстроившись ровными рядами, неподвижно и безмолвно ждёт моих приказаний многотысячная армия: захочу - пошлю направо, захочу - налево, захочу - направлю против врага, захочу - разделю на две части и пойдут они один на другого, захочу - атакую собственный город… Сделаю всё, что захочу, всё зависит только от меня, от того, что я прикажу. Увлёкшись мыслями, я и не заметил, что поглаживаю его сверкающие пуговицы и бляху. Вдруг он грубо оттолкнул меня: «Эй, я не любитель таких вещей, очнись!» Я сразу догадался, о чём он подумал, хотел объяснить, но он не дал мне и звука издать. «Перерыв кончился, встать! - крикнул он. - А теперь бего-м марш!» Я опять побежал по привычному кругу: что поделаешь, нелегко иметь дело с животным. После третьего или четвёртого круга меня вдруг охватило какое-то странное чувство. Забегая вперёд, ска-

жу… Но нет, не стоит спешить. Итак, я ясно почувствовал какое-то странное душевное смятение, которое, однако, длилось очень недолго, чтобы можно было в нём разобраться, да и этот идиот без конца кричал, не давал мне сосредоточиться. «Быстро, быстро, выше ноги, не останавливайся!..» Наконец, задыхаясь, я без сил рухнул на пол и сказал: «Что хотите, делайте, но я больше не могу, умираю». «Не умрёшь, - сказал он, - пять минут отдохнёшь и опять побежишь». Я попросил у него сигарету, он не дал: «Нельзя, противопоказано после бега. Резкая остановка тоже противопоказана. Встань, шагай!» Я вынужденно зашагал. Но он был прав, дыхание выровнялось. Снаружи уже темнело. Он взглянул на часы и с явным сожалением приказал: «Стой! Конец! Ну, я пошёл, счастливо оставаться!» - повернулся и пошёл. Я проследил за ним в окно, и как только он скрылся в конце улицы, сразу бросился в парк. Хорошо, мои товарищи не выпили всю вечернюю порцию вина, и я одним духом опорожнил бутылку. Они с недоумением следили за мной. Я сказал: «Случилась беда, угодил в полицию». Никому не рассказал о случившемся, не знаю почему, но чутьё подсказывало, что не следует говорить.

А утром ноги опять понесли меня к покинутому дому - я же говорил, что я пленник привычек. Конечно, я мог пойти пораньше и до его прихода закончить свои дела и уйти. Но, честно говоря, я хотел увидеть его: предыдущий совместно проведённый день уже сделал своё чёрное дело. Да, может, звучит странно, но так оно и было: я хотел увидеть своего мучителя и не в силах был противиться своему желанию. Кроме того, меня чрезвычайно интересовало, придёт ли снова этот псих, или я всё-таки что-то перепутал. Пришёл. Точно вовремя – у меня нет часов, но, глядя на улицу и небо, я почти безошибочно определяю время. Пришёл и вроде не удивился, увидев меня, хотя сказал: «Опять ты здесь, собака бездомная?». «Сам ты собака», - мысленно ответил я, что, видимо, отразилось на моём лице, так как он нахмурился и резко крикнул: «Напра-во! Нале-во! Правое плечо вперёд, шагом марш! Бегом!»

До полудня, проклиная свою судьбу, я бегал, шагал, даже полз на животе и одновременно вспоминал прожитую жизнь… Когда погружаешься в воспоминания, легче переносишь муки, - это уже испытанная вещь. Вспомнил также неосуществившуюся юношескую мою мечту. Я посмотрел в его сторону (хотел оглядеть его форму, чтобы уточнить в памяти некоторые подробности), и вдруг мне показалось, что я - это не я, а он… а он – это я. Было какое-то нелепое душевное состояние. Со мной и раньше случалось такое: разглядывая других, я вдруг думал, а почему я – это я, а не тот прохожий, или продавец мороженого, или полицейский, да… почему я – это я, а не кто-то другой. Но это были только размышления, а вот в покинутом доме, в то время, когда я полз на животе, я очень явственно почувствовал, что я – это не я, а он. Мне даже показалось, будто это он ползёт на животе, а я, облачённый в его форму, отдаю команды. Усталость как рукой сняло, хотя до того мышцы жалобно стонали, как кошка, угодившая в пасть к собаке, или мышь, оказавшаяся в кошачьих зубах.

В полдень он угостил меня целой сигаретой - наверное, пожалел: я заметил - иногда его долгий гнев сменялся минутами краткой доброты. Я курил, он ел. Потом он отдал мне остаток хлеба с маслом-джемом, а сам закурил. Обожаю инжирный джем. Я тихо пробормотал под нос: «Вот бы стаканчик вина…» Он услышал, усмехнулся: «Заруби себе на носу, господин пьяница, во время моего караула ни капельки алкоголя, иначе строго накажу. А теперь я на пару минут отлучусь, обещай, что не убежишь. Хотя я здесь поблизости, всё равно поймаю». «Не убегу, - сказал я, - если бы хотел бежать, совсем бы не пришёл». «Как знать, утром у человека одно настроение, после полудня – другое». «Не убегу, – успокоил я его. – Но вы можете оправить свою нужду и здесь». «Этого не хватало, мы же с тобой не одно и то же». Я чуть не сказал «одно и то же», так как в эту минуту мне опять показалось, будто я разговариваю сам с собой. Однако говорил не я, а он. Выходит, мне показалось, будто он разговаривает сам с собой? Но это мог почувствовать только он сам… Размышляя подобным образом, я ощутил, что запутываюсь. Хорошо, что он скоро вернулся. Поправил китель и, придав лицу строгое выражение, приказал: «Начали! Смирно!»

Ночью, сидя под деревом и потягивая вино, я с удивлением вдруг обнаружил, что скучаю по нему. Мне хотелось, чтобы ночь поскорее кончилась. Наилучший способ скоротать ночь - это сон, но мои товарищи были настроены на болтовню, а с улицы непрерывно доносился шум транспорта.

Утром я проснулся в тревоге, думая, что проспал. Но, внимательно вглядевшись в окружение и в небо, понял, что напрасно беспокоюсь. Одна из наших женщин мирно посапывала рядом со мной, положив колено мне на живот. Она опять описалась. Из её нагрудного кармана торчала помятая сигарета. Я не хотел тревожить её сон только ради того, чтобы спросить разрешения, и просто взял сигарету. Рукой коснулся её груди - ощутил прикосновение целлофанового пакета с небольшим количеством тёплой воды. Отряхнулся от травы и соломинок и вышел на улицу. Дворник, ругаясь под нос, подметал тротуар.

Разрешил прикурить от своей сигареты и продолжал ругаться: «Что за грязные люди живут в этом городе, мать их!..». Я сочувствующе прищурился и, пошёл. Какое удовольствие курить и шагать по пустынным улицам! Какое блаженство! Идёшь как хозяин города!

Когда тот пришёл, я сидел на камне и с серьёзным видом просматривал утреннюю газету, подобранную под забором. Уже издали он крикнул мне: «Эй, ты пришёл, бездомная собака?» Я не откликнулся, поздоровался лёгким кивком головы и продолжал читать. «Ты даже газеты читаешь?» - удивился он. Дурак, у меня почти полное высшее образование… проучился до третьего курса, потом бросил… случилось кое-что, потом брос… исключили. Хотел сказать всё это, но на словах «третий курс» осёкся, остановился. Иногда бывает, вдруг на полуслове сознание прерывается-сосредотачивается на одном-двух или, самое большее, трёх словах. Он оторопело смотрел, как у меня судорожно дёргается лицо и я машинально повторяю «третий курс… курс… до третьего… курса… до курса…». Воспоминания о проклятом неполном высшем образовании всегда причиняли мне боль. «Заткнись, если не можешь говорить», - посоветовал он. Легко сказать, как будто это зависит от меня. «Встать! Смирно!» - вдруг рявкнул он громовым голосом. Забавно, я сразу же вышел из ступора и, вскочив на ноги, крикнул: «Есть!» И начался бег. «Видишь, упражнения излечивают тебя, ты должен быть мне благодарен, - сказал он и, резко перейдя на серьёзный тон, крикнул, - взрыв впереди!» Я в недоумении посмотрел на него. Конечно, я хитрил, на самом деле я прекрасно знал, что надо делать, просто хотел выиграть время, чтобы перевести дух. «Ты что, не служил в армии?» - спросил он. «Служил, - ответил я, - но этот приказ мне незнаком». «Так, надо немедленно повернуться спиной к взрыву, лечь ничком и руками прикрыть голову, - объяснил он. - Понятно? Ну, если понял… Взрыв впереди!» Я сразу же повернулся спиной к воображаемому взрыву и бросился на землю. «Нормально, - послышался над головой его голос. - Но пятки торчат, опусти их. И голову втяни как следует, ещё, ещё. - Он подошвой нажал мне на голову, сказав шутливо: - лучше уж мне надавить, чем оставить, чтобы осколком оторвало. Вставай, ещё раз попробуем». Я стоял по стойке “смирно”, ожидая нового приказа. «Взры…», - начал он, но к своему ужасу вдруг споткнулся на слове, остановился. Его лицо и шея судорожно задёргались, и он стал механически повторять: «Взры… взры… слев… взры…» Наконец он замолк. Мы не мигая смотрели друг на друга. Вдруг мне показалось, что я всё о нём знаю. Мне захотелось уточнить подробности, и я спросил: «Извините, вы случайно не из деревни?» «Тебе-то что, собака паршивая? - зашипел он. - Ненавидишь деревенских, да?» «Нет, почему же, я сам… Правда, я родился не в деревне, но родители были из деревни. В конце концов, мы все корнями оттуда», - стал оправдываться я, чувствуя, что его охватывает ярость. «Нет, я знаю, ненавидишь, меня не обманешь, я хорошо знаю тебя и тебе подобных. Ничего, ничего, месяца два побуду здесь охранником, а потом получу офицерское звание, и тогда увидим, кто есть кто»… - Последние слова, казалось, были обращены к кому-то другому. «Наверное, в верхах у вас хорошие родственники, - попытался задобрить его, и, как выяснилось, неудачно, так как сначала он испугался (боже мой, как смешно он выглядел испуганный!), затем страшно рассердился и закричал: «Что ты мелешь! Встать! Смирно! Втянуть живот, поднять морду!» На минуту задумался, затем снял висевший сбоку противогаз и передал мне со словами: «Шесть секунд! Понял?» Я сказал: «Извините, насколько я помню, норматив восемь секунд». «Сейчас уже шесть. - Он приготовил секундомер. - Внимание, начинаем. Надеть противогаз!» До перерыва мне так и не удалось за шесть секунд надеть эту проклятую, обдирающую волосы резиновую плёнку, так как она была мне мала. Мне дважды удалось надеть его за восемь секунд, но это не удовлетворяло его. Резина обжигала лицо, солёный пот, казалось, тёк по нервам. «Ладно, продолжим после перерыва», - сказал он, наконец посмотрев на часы. Совершенно разбитый, я сел на пористую бетонную плиту. Взгляд мой остановился на лежащем на моих коленях противогазе, и мне показалось, будто он хохочет надо мной. А тот уже поглощал свой бутерброд, в котором сегодня была копчёная колбаса. Аромат колбасы щекотал мне ноздри. Мне не предложил. И сигарету не дал. Я поискал среди камней окурок - страшно хотелось курить. Не нашёл. Вместо этого на глаза попался осколок зеркала. Взглянул в него. Лицо моё напоминало варёный бурак. Но я заметил что-то более удивительное. Да, это не вызывало сомнений: мы были похожи друг на друга. Если бы я побрился, умылся и с лица сошла одутловатость… Но, слава богу, он не замечал этого, а то бы ещё больше разозлился. Я отбросил зеркало. Звук привлёк его внимание, и, обведя комнату взглядом, он приказал: «Собери эти камни, собери и аккуратно сложи под стенкой. Только старайся не пылить. Начинай, перерыв кончился». Я был рад, что избавился от противогаза. Собрал все камни и сложил под стенкой. Он долго смотрел на эту кучу, потом сказал: «Нет, там она как-то не смотрится, перенеси её под противоположную стену. И так до конца дня я переносил камни от одной стены к другой и наоборот. В конце дня отполировал его сапоги. Хотел отполировать и бляху, но он не разрешил. «Нет, - сказал он , - не

могу доверить тебе пояс». Спросить бы тебя, почему не можешь, съем, что ли? Я чистил сапоги и думал, что этот псих надоел мне до смерти. И форма совсем не шла ему. «Неужели от него нет спасения?» - думал я. И тут сообразил… Но, кажется, я опять забегаю вперёд…

Одним словом, сегодня утром, когда он шёл по коридору в сторону комнаты, я, затаив дыхание, стоял за стеной, держа наготове доску. «Эй, где ты, бездомная собака?» - позвал он. Я не откликнулся. «Неужели не пришёл?» - опять позвал он и вошёл в комнату. В тот же миг я с силой ударил его доской по голове. Тяжело застонав, он рухнул на пол. В глазах застыло удивление. Но у меня не было времени восхищаться им. Я быстро разделся. Сняв с него форму, натянул на себя, а свою одежду надел на него, что было крайне нелегко. Наконец, нахлобучил на него шапку и потащил в коридор. Бросил под стеной и посмотрел на него - настоящая бездомная собака. Так и сказал: «Тьфу, собака бездомная!» Форма была мне как раз, я оправил её, пригладил под ремнём, отполировал бляху рукавом, заправил штанины поглубже в голенища сапог, взял дубинку и встал перед дверью. А он стал приходить в себя. Качаясь, кое-как встал на ноги и вытаращил на меня глаза. Я сказал: «Ну, как ты, собака бездомная?» Он оторопело смотрел то на мою форму, то на свою грязную, измятую одежду. «Я здесь сторожу, понятно? - сказал я. - А теперь убирайся, пока по шее не получил». Он что-то хотел сказать, но я угрожающе поднял дубинку. Испуганно взглянув на меня, он съёжился и молча убежал.

Теперь я страж полуразвалившегося дома.

1996

Когда я очнулся ото сна, вся шея у меня была в слюнях, обильно ими вымазана, и эти вязкие слюни источали странную смесь запахов молока, мацуна, цветов и трав, и к ним примешивался еще какой-то еле уловимый запах, который, казалось, шептался с кем-то затаившимся у меня внутри, но вовсе мне незнакомым... Нет, какое-то чувство время от времени все-таки поднималось из глубин моей души, как, скажем, блестящая чешуя белой рыбы вдруг прорезала бы водную гладь, или, скажем, как тепло исходило бы от невозмутимой илистой водной поверхности в прохладный вечер. Я обтерся платком. Тонкая ткань промокла. Шея была действительно в слюнях. А мысль моя была неясна, словно извилины моего мозга тоже обволакивались все тою же слюною. Надо бы побриться... быстро, бриться. Не электрической... обыкновенной бритвой, намылившись мягкой белой пеной. Вот так, чисто-чисто... так гладко, чтобы даже муха поскользнулась. Однако там, где была слюна, сохранились белые пятна, если только зеркало не лжет... Похоже на родимые пятна или на экзему... или на клеймо, ведь если присмотреться, можно заметить письмена, похожие на арабески, а может быть, это я сам пишу затуманенным взором, устремленным сквозь слюну обволакивающую извилины моего мозга. Слышу тяжелые вздохи - давно уже слышу, но стараюсь не замечать... вот теперь слышу. Дверь полуоткрыта. «Распахни дверь и посмотри, кто там». Нет, нет никого. Спокойно. Впрочем, на полу мокрое пятно размером с собаку, и слышится смесь запахов молока, мацуна, трав и цветов... и еще какой-то еле уловимый запах...

Запах тянется за следами, что на пороге, на лестничных ступенях, у парадного входа, на улице... Девочка с бронзовыми серьгами шлепает голыми ступнями по асфальту... мышцы спины напряжены (маленькая пантера), словно ощущает мой взгляд. В воздухе витают клочья шерсти, а может, тополиный пух. У стены женщина взбивает шерсть гибким тополиным прутом. Сокращаю дистанцию между мной и девочкой и слышу, как она тихонько поет:

«О, святой Тибет! Ты высок и далек,
А Молосский дог живет в твоих глубоких ущельях...».

Она поет, и пряди волос колышутся на ее загорелом личике, на

плечиках... она поет, потом кусает хлеб, что у нее в руке и, не прожевав, продолжает петь. А в воздухе разносятся тяжелый вздох, тихое поскуливание.

– Это что за песня? – спрашиваю я.

– Блюз, – отвечает она, - Молосский блюз. Мой дедушка пел.

– Твой дедушка негр?

– Вовсе нет. Обычный армянин. Правда, он был очень смуглым.

Она поманила меня рукой, предложив присесть, и, когда я опустился на колени, обняла меня за шею и пропела мне на ухо:

«Я искал в Тибете Молосского дога,
Однако Далай Лама преградил мне путь.
Глупец этот Лама, в голове у него нет мозгов...».

Сквозь затуманенное горячим ритмичным дыханием сознание я ощутил, как слюна стала заливать шею за ухом. Вздох. Песня. Вздох, слюна, вздох, слюна... Потом я открыл глаза и... девочки не было, только по асфальту убегали следы, а вдали, на фоне кровавого солнечного диска, развевались пряди волос... и еще мерещились желто-зеленые глаза, чей взгляд был одинаково глубок и то направлен внутрь, а то во вне... подчас неуловим, но и ощутим, как тепло, поднимающееся с поверхности озерца в прохладный вечер... различим, как затаившаяся от выстрела куропатка бывает различима на фоне травы и камней, если только смотреть очень внимательно...

«О, святой Тибет, ты высок и далек!», - запел я, заметив, как на сером асфальте у кафе выделяются мои коричневые ступни. Кубики льда с хрустом ссыпаются в высокий стакан. Жажда.

– Дайте тан! – зову я.

– А мне коку! Угостишь? Я тоже хочу пить!

– Только с условием – петь ты не будешь!

– А вот и буду. Отчего мне не петь, буду петь!

– Нет, не пой.

– Нет, буду петь! Уже пою, я придумала новый блюз, вот слушай!

«Моя любовь живет в Аштараке, он покинул меня,
И если он не вернется, я отправлюсь на мост.
Орех Аштарака, сапог Амаяка, Амаяк джан...».

– Ты куришь, – поразился я, глядя, с какой привычной жадностью она втягивает дым.

– Ну, я же взрослый человек, просто ты не замечаешь.

За стеклом стакана ее здоровые зубы кажутся в несколько раз крупнее обыкновенных. Она выпила колу, с силой грохнула стаканом о стол и, пока я поднимал с пола пепельницу, исчезла.

Куда она пошла?.. Неужели на мост? На какой мост? Вот же мост! Самый удобный этот. Вокруг меня в горячем воздухе разнесся вздох, тихое поскуливание. Это самый высокий, а значит, самый удобный мост. А вот и следы – четыре-четыре, четыре-четыре... А вот и чугунная балюстрада. Но нет, кажется, до балюстрады она не добралась, да и вода внизу безмятежна, не потревожена... какой-то смуглый до черноты дедуля на берегу ловит рыбу на спиннинг... и все.
Где же она?.. Эй, где ты?..

«Здесь я! Да что же ты никак не сориентируешься, я в этой стороне, вот здесь... Да нет же, в ту сторону смотри. Снова не видишь? Да ты просто слепой, и как ты сюда-то дошел. Подойди к перилам, подойди... сейчас я тебе новую песню спою».

– Нет! – закричал я и убежал.

Однако пока я удирал, песня звучала в моих ушах:

«Когда женщина грустит, то склоняет голову и плачет,
А когда мужчина грустит,
То садится в поезд и уезжает».

Поезд? Конечно. Вокзал, поезд. Вагон, купе, окно. Соседи?.. Вот двое... нет, три соседа. Третий (а может, первый или второй) свернулся калачом у меня над головой, не заметил его. Все неподвижно: соседи, поезд, вокзал и даже я. Я движусь вне себя или только в себе, а чисто внешне я неподвижно сижу у окна и даже не мигаю. А поблизости раздается лай, и этот лай кружит вокруг меня, приближаясь:

«Я из племени Молосов, но на Алагязе я живу,
Живу я на Алагязе и вам прекрасную песню пою.
Это блюз овец алагязских, овечий блюз...».

Из коридора потянуло овечьим духом, песня-лай прекратилась, однако слюнно-молочный вздох был еще слышен. Горячий, влажный и шершавый язык прошелся по моему затылку, потом исчез и он, прихватив с собой вздохи и запахи.

– Куда это мы едем? - спрашивает мужчина напротив. Мы смотрим из одного окна, однако под разными углами. Впрочем, откуда ни

смотри - ничего не меняется.

Ему никто не отвечает, и он больше не повторяет свой вопрос. У него такой удовлетворенный вид, будто ему все-таки ответили. Поезд стоит, так и не тронулся. По коврику в коридоре шлепают чьи-то босые ступни... Сквозняк заносит в купе дождь волос. Она садится мне на колени, и крепкие загорелые ноги обхватывают мою спину. Она улыбается всей глубиной своих желто-зеленых глаз, в которые я боюсь пристально вглядеться. И все-таки я смотрю... Там все движется, полно игры, полно иронии... там видятся бесчисленные жертвы, однако насилия нет, нет трагедии. Среди жертв начинаю мелькать и я. Видны отдельные части - нога, рука, профиль... В надежде спастись я резко отвожу взгляд. Она смеется. И мне в лицо бьет букет запахов молока, мацуна, табака, цветов... Она поет странным грудным голосом, к которому примешаны голоса птиц, собак, кошек, слонов и еще голоса молока, цветов и трав:

«Моя единственная любовь живет в далеком Тибете,
А карман оттягивает голый пистолет.
И я буду стрелять в Ламу, если он мне помешает найти его».

– Где твой пистолет? – спрашиваю я.
– Здесь, – отвечает она, засовывая ладонь между ног. – Выстрелить?
– Стреляй!
– Жить хочешь?
– Хочу!
– Бааа-баах! – стреляет она. – Ну, так живи!

В голове у меня все перемешалось – времена, ассоциации, пространства, тождества... Потом волна хаоса схлынула. Я протрезвел. Но ее уже не было. Но вокруг слышатся вздохи, моя шея оголена, и на коже следы от слюнявых клыков.
Поезд не трогается.

– Вроде приехали, – замечает сидящий над моей головой большой петух.
– Да, вроде...– отзывается курочка у него напротив.
– Точно приехали, – ставит в разговоре точку индюк у меня напротив, и все сходят с поезда.

Я тоже схожу. Панорама привокзальной площади не имеет перспективы, все образы лепятся-клеются друг к другу. Двуглавая гора тоже на своем месте, и море было бы здесь, если бы только гора была

прозрачной. А потоки, обильно сходящие со склонов гор, достигают и сюда, обрушиваются на всех и все... вот и ворон, воркуя, летает над нашими головами, вместе с ним кружит голубь, укоризненно каркая. «А мясо у этой дикой птицы очень вкусное!», – слышу чей-то слабеющий голос и смачное чмоканье. Голос как бы вклеивается в общий гвалт. Все принадлежит мне, и я принадлежу всему... если рассматривать с точки зрения обладания. Хотя, если убить в себе желания, то восприятие станет куда более неожиданным и интересным: все в тебе, и ты во всем. И все одинаково, безмолвно, нехотя и безвольно кружит во времени, будто в ритмичном зное пустыни. И движемся мы то ли к концу, то ли к началу... не разобрать сейчас, да и лишено все это смысла. Прекрасный виток... такое чувство испытывает ребенок, впервые попавший в сад развлечений. Выворачивает наизнанку внутренности, сердце похоже на жабу, расквакавшуюся в неподвижных летних водах. Неужто будет Встреча? Нет, Встреча все испортит, все это прекрасно в своей бессмысленности.

Однако неожиданно поступившее желание в мочевой патрон сразу начинает отсчет времени во вселенной, в ее существовании уже есть смысл. Какое-то ничтожное желание все портит. За сеткой, за собой слышу собачий вздох и тихое поскуливание. Где это ты бегал, бесстрашный отпрыск молоссов?.. испугался безвременной прогулки, предатель? Да не лижи мне руку, видишь, она занята! Да не тяни...

На зеленой траве разложен древний карпет. Ритм его узоров мне напоминает мою недавнюю прогулку. На ковре лежат обсидиановая пепельница и курительная трубка из абрикосового дерева. Усаживаюсь, поджав под себя ноги. Две горячие руки обвивают мне шею, две горячие груди прижимаются к моей спине, пара острых клыков протыкают мою кожу, и тоненькие ручейки крови начинают струиться по моей груди... Из струящейся крови доносится тайный шепот. Кто и что присутствуют в этой крови, какова стремительная сила ее шариков, каково их свободное течение. Груди отрываются от моей спины, оставляя в душе сожаление, правда, сразу же появляются перед моим взором, и я начинаю размышлять – лучше их видеть или только осязать. Она усаживается мне на колени, вынимает у меня из руки и кладет на карпет курительную трубку, потом окровавленным ртом до крови сильно целует меня в губы... вкус крови, вкус молока, вкус полевых цветов...

Смотреть в глаза опасно. SOS.
– Закрой глаза, – обнимаю ее.
– Свои закрой, – спокойно предлагает она.

Но уже поздно... я пойман и вижу горы, расщелины, деревья...А

вот и молосы, преследующие с бешеным лаем окровавленную жертву. Ей уже конец, он и сам знает, однако продолжает бежать – игра смерти, без сомнения, должна проходить так, как заведено от века.

– Поезд так и не тронулся, – сказал я, еле-еле отрывая взгляд.

– Когда ты сошел, неужто ничего вокруг не изменилось?.. все было по-прежнему?

– Изменилось.

– А ты говоришь, что не тронулся. Хочешь, погадаю? – спросила она.

– Я вспомнил один блюз... отец пел, - сказал я и начал петь: «Я отправился к цыганке, чтобы узнать свою судьбу. Она посмотрела мою ладонь и сказала, да ты безнадежный неудачник, чавале».

– Не слушай цыганок, слушай меня!

– А ты как станешь гадать?

– Я просто залезу на вершину вон того тополя и оттуда увижу твою долю.

Ее эластичные, гибкие ступни взбираются по коре дерева над моей головой. А я время от времени успеваю лизать эти ступни. Она хохочет: «Не щекочи, упадем!» «Ну что, показалась моя доля?», - спрашиваю я. «Нет еще. Не спеши, мы добрались только до половины». «А я и не спешу. А сейчас показалась?»...

2003

Терпения тебе человек

Думаю, что изгнание Адама и Евы из Эдемского сада (рая), перемещение их в другую местность, где все вокруг было не только недружественным, но и крайне враждебным, и где они должны были добывать хлеб в мучениях, было не на этой планете. Эдем был одной планетой, а место, куда их переселили, другой, то есть той самой планетой, где мы теперь обитаем, однако все смотрим по старой памяти в небо, инстинктивно выискивая в нем Эдем, а его нет, Господь взорвал его, или, быть может, обратил в пустошь, сделав непригодным для жизни местом, а может, там просто проходит дезинфекция, чтобы принять новых обитателей, одним словом, мы к нему больше отношения не имеем, не наше это, наш удел жить здесь, в аду, который уже успели полюбить... Эх, куда собаку на привязь ни посади - везде привяжется-свыкнется-полюбит. А на самом-то деле любить здесь нечего. Ну да, конечно... синее небо, моря, поля, флора-фауна, цвета, запахи... Но кто же вначале все это любил? Вначале все наши помыслы были направлены на то, чтобы выжить, наполнить желудок – это уже потом, когда мы выбежали из леса, создали цивилизацию, почувствовали себя в относительной безопасности, и у нас появилось свободное время, чтобы осмотреть все вокруг другим, ненапуганным взглядом, только тогда в нашем мозгу-сознании появился центр, отвечающий за эстетическое восприятие мира, который потом породит искусство, а на самом деле наша планета ад, и закон существования для всех здесь неизменно одинаков – поймай и сожри другого раньше, чем поймали и сожрали тебя... и так без конца – в небе, в воде, под землей, в кронах деревьев, в полях, в горах, на равнинах...

Сейчас, да, нам удалось покинуть леса, и этот ужас перед тем, что тебя сожрут, оставили в лесу остальным тварям, а сами пожираем тех, кого прихватили оттуда с собой – выращиваем, разводим и пожираем, разводим и пожираем... ну, а что же нам остается делать, не будем же сидеть голодными, не мы же придумали этот закон – господа он, и противиться ему невозможно. А друг друга мы не пожираем, нет... только иногда, от случая к случаю, в рамках аномалии и патологии. Но не это я хотел сказать... вернее это, но не так многословно и не с таким воодушевлением, а больше об изощренной, чисто человеческой ее разновидности.

Человек родился, тсссс!... Настрой свои ловушки, мир. Охотни-

ки, будьте готовы - появился новый человек.

Обрезали пуповину, конец внутриутробному спокойствию. Вот первые запахи, свет и тени, голоса, перепады температуры, неровности... Что-то отталкивает, что-то влечет... Наморщил личико – поднесли грудь, заплакал – стали укачивать, замахал ручками – запеленали, опять заплакал – сунули соску... Слов не понимает, однако чувствует интонации – утютю-утютю, деточка, маленький, иди ко мне, я съем тебя, укушу за щечку... На кого ты похож? На меня, нет? А кого больше всего любишь?..

Соблазняют интонациями, шуршанием, присвистыванием, причмокиванием, стуком погремушек...

Охота началась... Вот твой родной язык – его учи, вот твое отечество – здесь живи, вот твои традиции – повторяй их, вот прекрасное, вот уродливое, вот доброе, вот злое, вот правильное, вот неправильное – смотри, не перепутай... Я Иисус – бросай все и иди за мной, я Иегова – иди и свидетельствуй, я Мухаммед – меня слушай, не имей дел с гяурами, я Будда – иди, сделаю провидцем, я Сатана – слушай меня, чтобы получить от жизни наслаждение, я Ницше – сделаю сверхчеловеком, я коммунистический флаг – встань подо мной, я демократия – несовершенна, но выбора у тебя нет... Брат-человек, иди сюда – это вкусно, это хорошо пахнет, этот стиль твой, это хорошая песня... нет, эта нехорошая, брось, вот эту бери. Я водка, я пиво, я сигарета, я гашиш, я морфий, я карточная игра и рулетка... тихо, я ссссексссс...

И так без конца, вся твоя жизнь усеяна ловушками, не дают тебе ни секунды поразмыслить, кто ты и чего хочешь... все ловят и ловят, ловят и ловят... И, наконец, понимаешь – пусть ловят, это все равно, что жить, жизнь не протекает по-другому в пределах этой цивилизации. Встречаются и такие, их мало, можно сказать, редкие личности или просто душевнобольные, что время от времени возмущаются, отказываются, мол, мы не ловимся – мы не такие, мы другие. Иные во имя свободы способны даже побежать и броситься с моста. Кто ускользнул – ускользнул, все, потеряли его... уже не узнаем – выиграл ли, проиграл ли... А тех, кто не успел ускользнуть, мы настигаем и ловим, выкручиваем руки и разъясняем, что нельзя – церковь запрещает, общество осуждает... нигилизм все это, пораженчество, психическое отклонение... Вылечим, возвратим обществу...ну, а как же, а то если каждый надумает бежать, то кому прочищать мозги, в чей можно будет залезть карман, кому в руки можно будет вложить винтовку и поставить сторожем на границе, кто будет голосовать, кто будет стоять у станка, кого тогда сажать в тюрьму, кто будет сдавать кровь, кто будет сидеть-балдеть у компьютера, кто встанет под знамена, кто пойдет за лидером, кому тогда втолковывать о чувстве долга, совести... «Нация превыше всего...», «Смерть осознанная –бессмертие...» и т. д., и т.п. Так что возвращайтесь, заблудшие... пусть в разорванных джинсах, косматые и бородатые, с сексуальными отклонениями... Ну, если ты так хочешь свободу... на, выбирай, кем стать – панком, рокером, байкером, бомжем... Кем хочешь – стань, только – здесь, не ходи далеко, не ускользни...

И так без конца, попадаешь в одну ловушку, выбираешься из нее и попадаешь в другую...

Хотя...

Хотя приходит время, когда с удивлением обнаруживаешь, что ловушек стало меньше, уже не так за тобой охотятся... Как же так? Неужели изменились законы жизни?..

Да нет, они неизменны, ты сам изменился... Иди, говорят тебе, отдохни, пенсия-шменсия... Вот тебе раз... Грустно становится, тоскливо смотришь в глаза одному, другому... что же не ловите?.. Но нет, из ловушек остались только лекарства, телесериалы, кактусы, четки, нарды... Тоже неплохо, если ничего не изменится, но время не останавливается. Потом приходят последние ловцы - гробовщик и копатель ямы. Вот уложили в последнюю ловушку, заколотили... Все, уже не выйдешь... Какое еще бессмертие души?..

Хотя, почем знать, может, и есть оно... не отрицаю, в любом случае не теряй надежду, глядишь, действительно...

И, представляешь, начнется там новая ловля-охота уже в других сферах, в других гравитационных полях, в других физико-химических условиях, по законам иной жизни...

Эх, терпения тебе, человек!

2010

Завен Хачикян

Физик по образованию и известный фотожурналист. Сотрудничал с такими крупными международными агентствами и изданиями, как Reiter, Associated Press, TASS, Time, Paris Match и другими. Его фотографии напечатаны в десятке книг, изданных British Library, Indiana University Press и т.д. Руководитель ряда фото- и культурных программ, основал Центр межкультурных взаимоотношений «Восток - Запад». Живет в Ереване.

КАССА

EURO
BIN
Ես, ՄԱՄԱ ՀԱՐ
Ուզում եմ մնալ ինքնատիպում

Культурное пространство

В постсоветский период на всем Южном Кавказе происходят сходные процессы, в их числе попытки самоидентификации народов, городов, личностей… Авторы предлагаемых читателю очень разных текстов размышляют о своих культурах, коллективном сознании, бурном современном развитии, ностальгии по прошлому и многом другом – сквозь индивидуальную лупу каждого автора проступают общие контуры нашего непростого региона, испытывающего мощные влияния Запада и Востока и пытающегося найти свой путь.

Рахман Бадалов

Родился в 1937 году. Доктор философских наук, профессор. Автор более 300 научных и публицистических статей по вопросам культуры, участник многих международных конференций. Ведет свой блог на портале «Радио Азадлыг».
Живет в Баку.

Определение даты рождения города, имеющего ту или иную степень древности, как правило, мифологично не в смысле фальсификации (что также не исключается), а в том смысле, что дата определяется в системе внеисторических параметров. К этому следует добавить существенные отличия исторического языка описания древнего и средневекового города и архитектурно-урбанистического языка описания городов, начиная с XIX века.

Средневековая составляющая Баку как развитого городского образования не подлежит сомнению (в отличие от древней составляющей, которая во многом гипотетична). Достаточно пройтись по его Старому городу (он получил название Ичери шехер - Внутренний город) и внимательно познакомиться с Дворцом Ширваншахов, шедевром архитектуры как с градостроительной, так и с художественно-тектонической точек зрения.

Более противоречивой и парадоксальной следует признать историю Баку за последние 200 лет.

Во-первых, Баку к началу XIX века не обладал ясно выраженными урбанистическими признаками, если исходить из критериев того времени. Во-вторых, Баку в этот исторический период невозможно идентифицировать со страной, столицей которой он впоследствии станет. Поэтому у нас есть все основания сказать, что хронотопы (время-пространство) Баку и Азербайджана в новейшее время только в этой исторической точке начали сходиться, пересекаться, потом совмещаться, а впоследствии взаимоотождествляться, доходя до своих крайних пределов, когда один хронотоп грозит разрушить другой.

Здесь нет необходимости подробно останавливаться на параметрах урбанизации, но отметим только два, во всех случаях важнейших для города как урбанистического образования: скученность поселения и динамика функциональной деятельности.

Город в новое время противопоставляется селу, как более разреженному поселению со стабильной функциональной деятельностью и, можно даже сказать, с иной метафизикой жизни. Он поглощает близкие сельские поселения, инициирует приток их населения в свое урбанистическое пространство, а взамен вынужден частично брать на себя выполнение аграрных функций (механизация, индустриальная переработка, торговля) и обеспечивать соответствующие социально-урбанистические люфты для сельских мигрантов. В процессе реализации этой многофункциональной деятельности и проявляется глубинное различие метафизики городской и сельской жизни.

Нормальная жизнь города требует всей полноты информации о самом себе - от хозяйственной деятельности до многообразия мнений горожан по тем или иным вопросам. Поэтому город должен прибегать к постоянному самоописанию и саморефлексии, которые и должны обеспечить саморегуляцию его хрупкого (это в одном отношении слабость, в другом - сила) социального общежития. Без подобной деятельности город постоянно будет скатываться к традиционно-сельскому образу жизни (который в городе до конца не вытесняется), когда

саморефлексии через постоянный приток информации будет предпочитаться прошлый нерефлексируемый опыт предков. В этих случаях прошлое, как более стабильное и глубже укоренённое в сознании, будет возвращаться, но уже в извращённых формах.

Как правило, стремительное развитие городов ("города-грибы", как их называют урбанисты) начинается с города-порта, города-сырьевой базы, а впоследствии, при нормальном развитии, происходит трансформация в город, регулирующий информационные и финансовые потоки, город как информационно-образовательный центр, способный обеспечить всё более интенсивную динамику многофункциональной деятельности, включающую всё новые и новые формы избыточной культурной деятельности.

Попробуем кратко охарактеризовать новейшую историю Баку с этих позиций.

Несомненно, урбанистическое развитие Баку стимулировалось завоеванием Российской империей. Об этом позволяет судить и постепенное вытеснение аграрных функций, и динамика численности населения, и "динамика застраиваемости и благоустраиваемости территории", и некоторые другие характеристики развития экономики, просвещения и пр. При этом город продолжал оставаться во многом аграрным, хотя и со сложившейся дифференциацией ремесленных профессий (возможно, наследие развитого средневекового города), частично обслуживающих аграрную деятельность.

Ситуация резко меняется с возникновением нефтяного бума.

Азербайджанский просветитель Гасан-бек Зардаби очень образно описывает эту демаркацию: "На берегу Каспия, на сыпучем песке и ракушечнике стоял городок, сотни лет не ведавший, что творится на белом свете, мало кому известный… Почва и климат этого неприютного городка были до того непривлекательны и негостеприимны, что он служил местом ссылки. Но с 1872 года находившиеся на этом негостеприимном уголке казённые нефтяные промыслы были изъяты из откупного ведения и попали в частные руки. Загремели буровые, полилась нефть и затопила пески и камни, со дня образования не видевшие затопления даже дождевою водою… Этот возродившийся город Баку, ничего общего не имеющий с прежним негостеприимным городом, стал расти не по дням, и жизнь закипела".

Я привёл этот отрывок, осознавая его просветительскую риторику, прежде всего потому, что он является историческим свидетельством взгляда на Баку на рубеже веков, и потому, что трудно удержаться от напрашивающегося сопоставления "1900" и "2000".

Так что же изменилось в Баку за последние 100-120 лет, если согласиться с Зардаби, что Баку развивался не по линии своего предыдущего исторического опыта?

С начала нефтяного бума началось стремительное урбанистическое развитие Баку, характерное для "городов-грибов", выросших около сырьевых источников.

Интенсивный приток населения привёл к скученности населения, к возникновению новых посёлков и становлению большой городской агломерации.

Строительство порта и железной дороги обеспечило высокую транспортабельность нефти. Порт, железная дорога, а впоследствии и аэропорт способствовали решению коммуникационных и информационных задач. Баку становится городом, открытым для мировой культуры и мировой цивилизации.

Стремительно развивался центр города, в котором размещались административный персонал, торговые бюро и пр. Строились роскошные частные дома, многие из которых со временем стали архитектурными памятниками.

Постепенно развивались различные формы городского само-

управления (признак, углубляющий отличие от села), хотя и с сохранением отчётливой границы между гражданским и военным правлением (империя!), вплоть до самого возникновения АДР - Азербайджанской Демократической Республики (1918).

Мощное развитие получили различные стороны культурной жизни: театр, кино, музыка, печать и пр., то есть то, что сегодня можно назвать классическими формами избыточной культуры.

Главным импульсом развития стало противопоставление Баку селу – как в плане деятельности (строительство, коммуникации, информационное обеспечение), так и в плане сознания (становление городского "образа жизни").

В советское время Баку становится столицей советской республики, со всеми вытекающими отсюда символами и ритуалами. Развивается промышленность: нефтеперерабатывающая, нефтехимическая, машиностроительная, химическая, лёгкая и т. д. Возникает город-спутник (Сумгаит), в котором размещаются многие промышленные объекты. Баку превращается в образовательный и культурный центр, со множеством учебных заведений, научно-исследовательских институтов, библиотек, театров, кинотеатров.

В самое последнее время, после обретения независимости, возникают не только посольские здания, но и банки, офисы международных компаний, всевозможные фирмы, корпорации, а также супермаркеты, ночные клубы и пр. и пр.

Казалось бы, радужная картина в системе урбанистического описания, позволяющая говорить о плавном переходе от "города-сырьевой базы" к многофункциональному городу. Известные негативные явления, возникающие при этом стремительном развитии, также можно признать естественными. Известны столицы, которые подминают по себя все государство. Во многих столицах стихийно возникает самодеятельный "город бедняков", со своими нравами и принципами жизни. Наверно, можно привести и другие аналогии, которые следует иметь в виду, чтобы не терять чувство реальности.

Но вместе с тем многое сегодня говорит о кризисе в развитии Баку, включая его взаимоотношения с Азербайджаном в целом. Трудно заслониться от постоянных жалоб и стенаний старых "бакинцев" (об идентичности "бакинец" чуть позже) по поводу того, что в Баку исчезла городская аура. Трудно не заметить парадоксальную "функциональную трансмиссию" - город, начав своё урбанистическое развитие с сырьевой функции, постепенно возвратился к "сырьевой функции", теперь в общемировом разделении труда. И, в конце концов, следует

признать, что немало городов исчезло с арены истории или захирело из-за хищнической эксплуатации сырьевых ресурсов и необеспечения "функциональной трансмиссии". У нас нет оснований для исключения подобного сценария развития событий и для Баку.

Возможно, суждение о кризисе - всего-навсего удобная метафора для обозначения исторических изменений. Не исключено, что при том историческом катаклизме, который переживает Баку, просто возникают трудно фиксируемые мутационные явления. Они ведут к появлению новых энергичных людей с иным стилем жизни (а возможно, и пока "безстильных"), а кто-то продолжает ворчать, эстетически и этически не принимая и не воспринимая этих "новых". Дистанция времени должна снять многие вопросы и в плане гармонизации "старого" и "нового" мировоззрений и стилей, и в плане выработки соответствующих научных процедур, способных выявлять "мутационные" явления. Но вместе с тем, в локальных границах настоящей статьи, попробуем выяснить некоторые возможные причины этого кризиса.

1. Баку как порождение империи

Урбанистическое развитие Баку во многом обусловливалось политикой и идеологией Российской и Советской империй, хотя между ними и нельзя ставить знак равенства.

Российская империя была типично колонизаторской, не торопилась сделать из "туземцев" (так их называли в газетах конца XIX века, не имея готовой идентификации) мусульманского вероисповедания "верноподданных", и эти "туземцы" вынуждены были постоянно доказывать свою лояльность империи.

Советская империя во всем действовала форсированно, ускоренными темпами, попросту уничтожая тех, кто не принимал навязанные правила игры.

Российская империя попросту относилась к Баку как к российскому городу, в котором продолжали жить "туземцы", цивилизованность которых - дело далёкого будущего.

Советская империя, несмотря на риторику о "суверенных национальных республиках", была созидательницей русскоязычного "имперского интернационализма", и Баку во многом оказался одним из её идеологических форпостов (если бы не мусульманские корни, Баку и его лидеры идеально вписались бы в "советский миф").

Здесь невольно возникает множество вопросов, которые остаются за границами статьи. Как отнестись к развитию азербайджанско-

го языка и азербайджанской литературы в советские годы и не следует ли признать, что во многом это было следствием “ленинской национальной политики”? В какой мере в Баку сложился билингвизм, и как он, в свою очередь, повлиял на урбанистическое развитие? Какую нишу займут русскоязычные азербайджанцы в будущем развитии Баку, и сохранится ли эта ниша?

Но при всём этом факт остается фактом: в XIX веке Баку сначала стал “русским городом”, потом городом русскоязычных “интернационалистов” (старые бакинцы до сих пор гордятся этим словом), а в каком-то смысле и в российское, и в советское время это во многом был просто космополитический город (кто-то назвал его даже “космополитическим болотом”). Конечно, в постсоветское время это недавнее историческое прошлое не могло не сказаться на сознании бакинцев, как потомственных, так и недавних мигрантов.

2. Принцип централизации

Баку, будучи не просто столицей, а центром, в котором сосредоточена вся политическая и административная власть, с какого-то времени стал подавлять политическую, интеллектуальную и даже художественную жизнь в регионах. Такая централизация опасна и разрушительна в любых странах. Она вдвойне опасна в Азербайджане, где еще только складывается общенациональное государство и общенациональное сознание, и естественные культурные и психологические региональные различия (исторически обусловленные и потому устойчивые) прорываются в самой столице теперь уже в уродливой и болезненной форме. Политический аспект подобной централизации и её возможные последствия не требуют особых разъяснений. Более существенно то, что подобная централизация опасна и для развития культуры, поскольку резко поляризует всю страну на ярко выраженный центр и столь же ярко выраженную периферию. В подобных случаях и сама столица, в которой господствует иерархическое сознание, незаметно превращается в провинцию каких-то “иных миров” (провинциальное сознание всегда стремится к центру, не осознавая, что подобный “центр” - чистый фантом).

Парадоксальная реальность современного Баку: мифы о национальном единстве, о линейно-поступательной истории, начинающейся чуть ли не с палеолита, о национальной идее как подобии архимедова рычага и пр. И вместе с тем - ущемлённое сознание потомственных бакинцев (бывших “туземцев”), растерянность “советских бакинцев”, теряющих свою нишу, трудно социализируемые в большом городе новые потоки “мигрантов”, постоянные пересуды последних лет о монополии выходцев из того или иного региона и пр. Прибавим к этому поток беженцев и вынужденных переселенцев (как всегда, трудно выяснить конкретные цифры), в сущности, не затребованных урбанистическим развитием и вынужденных сохранять свой способ поведения и привычный образ жизни. При отсутствии органичной “функциональной трансмиссии” такие различные способы поведения в городе становятся взаимовраждебными, и трудно прогнозировать, как поведёт себя дальше этот пёстрый “котел”.

3. Нерефлексивный принцип городской жизни

Выше говорилось о том, что большой город, столица, нуждается в полноте информации о себе и постоянной саморефлексии. К сожалению, такой “обратной связи” давно нет в повседневной жизни Баку, в его управлении, в его, если можно так выразиться, философии жизни. Трудно сказать, где здесь заканчивается национально-ментальное фарисейство и начинается фарисейство советско-ментальное, но в большинстве случаев пропагандистское клише превалирует над строгим анализом.

Разрыв между словом и делом, между жизнью и мыслью о ней превратился в устойчивый принцип, что можно обнаружить и на эмпирическом уровне, и на уровне политики властей, и на уровне обыденного сознания, на уровне всей философии жизни. Конечно, как грибы после дождя возникают всё новые и новые газеты, и они фиксируют динамику общественного сознания (при всей "желтизне" и стилистической неряшливости этой прессы она сегодня - наиболее адекватная часть нашего сознания).

В последние годы было открыто множество различных стратегических аналитических центров (насколько мне известно, только в Баку). Существуют и другие официальные и неофициальные институты (вузы с их кафедрами, научно-исследовательские институты, различные НПО и т. д.), которые и должны были обеспечить подобную "обратную связь". Но все они, работающие лучше или хуже, институционально не встроены в городскую жизнь, не вписаны в городскую многофункциональную деятельность для обеспечения информационно-адаптирующих функций в развитии города (а через него и страны). Возможно, по этой причине многие из них или излишне политизированы, или слишком умозрительно-абстрактны, их интересуют только такие глобальные вопросы, как прошлое и будущее Азербайджана, Азербайджан в системе мировой геополитики и т. д.

Отсутствие должной институализации приводит не только к тому, что практически отсутствуют необходимые цифры (попробуйте выяснить, скажем, такие важнейшие для развития города вопросы, как динамика соотношения городских и сельских зон, доходы горожан, характер миграций внутри города, демографические характеристики центра города, количество мигрантов, динамика их заселения в городе, детальная медицинская статистика и т. п., не говоря уже о более частных вопросах, связанных с поведением городских семей, без чего невозможно понять, как складывается городской "образ жизни"), но и размывается урбанистическое сознание. В результате реанимируется традиционно-патриархальное сознание, в свою очередь незаметно трансформируясь в трайбалистски-клановое. Не следует удивляться, что в этих условиях, при отсутствии должной институционализации и жестких интеллектуальных ограничителей, стихийный рынок легко коррумпируется, подчиняясь диктату наиболее подвижной и наиболее беспринципной части населения. Баку в этом смысле становится не гарантом политической стабильности, а рассадником постоянного социального недовольства как жителей города, так и жителями города (со стороны остальных азербайджанцев).

4. Принцип примата "идеологического" над функциональным и рациональным

Под "идеологическим" в данном случае понимаются любые формы конструирования сверху: жёсткость политической вертикали, интенция которой направлена на самовоспроизводство, "планирование", постепенно превращающееся в "игру в бисер", декларативная императивность, ориентирующаяся на "национальные приоритеты", и многое другое, не предполагающее ни автономно-самоорганизующихся сфер жизни, ни их рационального осмысления. Во многом этот "принцип" является следствием советской системы, трудно поддающейся, как показала жизнь, реформированию.

Для наглядности настоящего тезиса остановимся на урбанистическом развитии Баку в связи с нефтью.

Баку когда-то называли "Нефтяной Академией Советского Союза". "Нефть", "нефтяник" стали символами Азербайджана. В Баку было открыто множество научно-исследовательских институтов, связанных с нефтью, были построены (и продолжали строиться) нефтехимические заводы и заводы нефтяного машиностроения. Высокий общесоветский рейтинг имел учебный Институт нефти и химии. Азербайджанские нефтяники (в первую очередь геологи) активно участвовали в разработке нефтяных месторождений во всем Советском Союзе.

Однако в постсоветское время востребованность азербайджанских нефтяников в "новом мире" оказалась ничтожной. Широко разрекламированный "контракт века" предполагает использование только западных технологий и, за редким исключением, западных специалистов. Большинство научно-исследовательских институтов влачат жалкое существование, а от былой популярности Института нефти и химии не осталось и следа. Нефтехимическая и машиностроительная промышленность парализованы. Не подтвердилась не только научно-техническая потенция наших нефтяников, но и их социально-политическая мобильность (где был "бакинский пролетариат" в лице нефтяников на различных этапах национально-освободительного движения, можно ли сегодня говорить о "бакинских нефтяниках" как о специфическом электорате и т. п.). Приходится признать, что представления о "Баку - Академии нефти" во многом оказались одним из многих советских мифов.

Наверное, сказанное о Баку как городе нефти и нефтяников, с

теми или иными коррективами, можно сказать о Баку как портовом городе и о промышленности, связанной с портом, о Баку как научном и университетском центре, и, уже в наши дни, о Баку как городе банков и корпораций. Функциональная аморфность урбанистического развития Баку обнаруживается каждый раз за фасадом "общих мест" большого промышленного города.

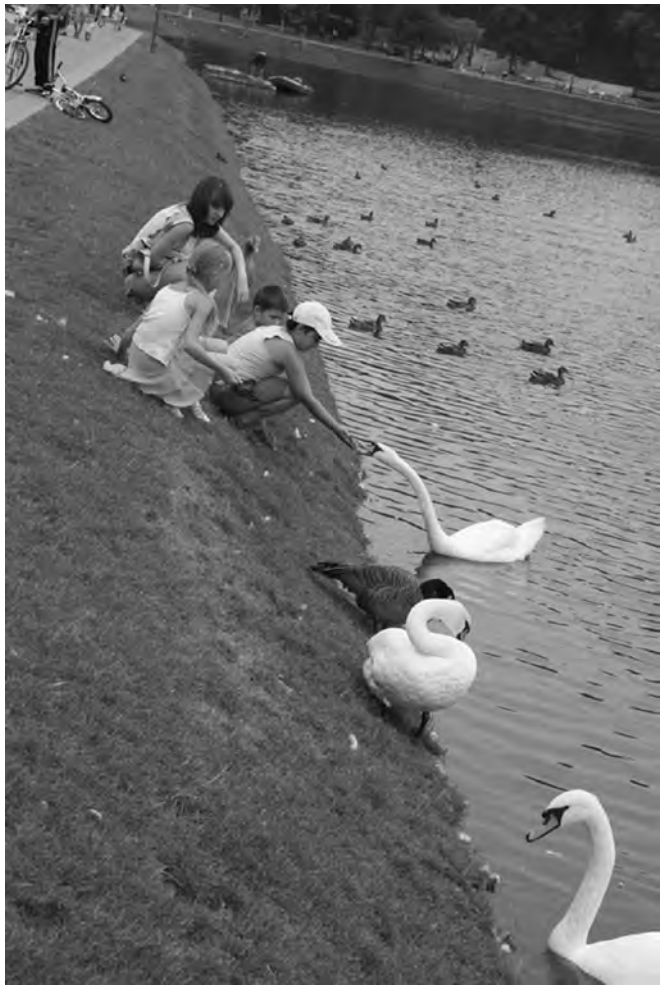
Названные выше четыре причины кризиса так или иначе замыкаются на людях как носителях определённого исторического опыта и соответствующей ментальности. "Свои" и "чужие", "местные" и "пришлые", "горожане" и "селяне", "бакинцы" и "провинциалы" - все эти демаркации подводят нас к проблемам национальной идентичности.

Баку: в поисках национальной идентичности

Человек в городе более динамичен, чем на селе. Во-первых, потому, что всегда функционально связан со множеством других людей, в отличие от села, где меньше функциональной зависимости от других и просто больше возможности для уединения. Во-вторых, город, стимулируя "функциональную трансмиссию", постоянно создаёт "новых людей" и тем самым отрывает человека от традиций, разрушает его привычные родовые связи. Парадокс, однако, заключается в том, что именно большой город, на определённом витке своего развития, создаёт новые мифы "национальной общности", а в некоторых случаях и "коллективной безопасности".

Трудно сказать, насколько связаны между собой "городские мифы" о национальной общности с нормальным урбанистическим развитием. Во всяком случае, эту взаимосвязь можно проследить в эпохи национально-освободительных движений и роста национального самосознания. В колониальных странах урбанистическое развитие столицы может долгое время не иметь никакой связи с национальными идеями, но рано или поздно именно в скученном поселении, в динамике городской жизни обостряются поиски национальных мифов.
История Баку нового времени, история стремительного урбанистического развития города - это и есть во многом история Азербайджана. Во-первых, потому, что Баку становится огромным мегаполисом, превращая страну в подобие "хинтерланда" столицы и, тем самым, понижая урбанистический тонус других городов. Во-вторых, именно здесь и в этот период (хронотоп) начался процесс роста национального самосознания, начались поиски национальной идентичности, завершившиеся написанием "Истории Азербайджана", которая и должна была

стать самораскрытием этой идентичности в историческом времени. Остаётся предположить, что эти процессы были детерминированы урбанистическим развитием Баку, хотя при этом причина и следствие постоянно меняются местами.



Если урбанистическое развитие дало мощный импульс развитию поисков идентичности, то на следующих этапах колебания в определении идентичности, способной объединить, по крайней мере, титульный этнос страны, стали сказываться на урбанистическом развитии.

Процесс этот остаётся сложным до сих пор. Нам хочется думать,

что мы имеем просвещённого горожанина-азербайджанца, урбанистически мобильного, способного жить в современном информационном пространстве, привыкшего к правовому регулированию конфликтов и в то же время ангажированного национальной историей, национальной культурой и национальным языком. На деле же обнаруживается, что всё это пока наши мечтания, а в реальности нашего сознания сохраняются непреодолимые барьеры по границе патриархальное – индивидуальное, традиционное – правовое, общенациональное – региональное, общенациональное – клановое, и многие, многие другие.

Причем в этой плоскости существуют свои упрощенческие "вирусы сознания", связанные с примитивным и мифологизированным представлением о нашем недавнем прошлом, о том, как складывались и складываются поиски идентичности, о том, кто такие "мы" в недавней исторической перспективе. Упрощенческий вирус сохраняется и в наших представлениях о факторе России и русского языка.

К моменту завоевания Бакинского ханства Россией местное население ни о какой национальной (этнической) идентичности и не помышляло. Пожалуй, шиитская ориентированность определяла тяготение к Ирану, и она же отодвигала на второй план поиски идентичности через тюркский язык. Ещё предстоит более глубоко разобраться в причинах убийства в Баку российского генерала Цицианова в начале XIX века, возможно, оно было импульсивным, вряд ли можно говорить о ясности цели, коллективной солидарности и пр., но, во всяком случае, православная Россия не могла восприниматься в те годы культуртрегерски (что стало возможным в последней четверти XIX века).

Первые камеральные описания "податного" населения Баку вынудили исполнителей переписи определить какую-либо "идентичность" местных "туземцев". Они предпочли этноним - "персияне", а чуть позже "татары". Не будем обвинять царских чиновников в неграмотности, ведь не исключено, что они обращались по этому поводу к местной знати, советовались с ней. Вместе с тем мы должны отдавать себе отчет, что в новейшей истории Азербайджана первоначальные поиски идентичности не были фактом национального самосознания, а были вызваны запросами имперского делопроизводства. Никакого романтизма - одна проза жизни.

Азербайджанцы (примем условно современный этноним) составляли в это время большинство населения Баку. В 1809 году азербайджанцы составляли 95 процентов населения города. Несмотря на приток выходцев из других мест, такое положение сохраняется вплоть до промышленного бума. Но уже в конце XIX века азербайджанцы составляют только 36 процентов всего населения (русские – 35, армяне – 17). Приблизительно такое же положение сохраняется и в начале XX века (по данным на 1 января 1913 года, азербайджанцы составляют 38 процентов, русские – 34, армяне – 17 процентов.

Таким образом, азербайджанцы теряют своё абсолютное большинство в городе. Они становятся "туземцами" и "инородцами" в собственном городе. В прямом смысле слова они вытесняются на периферию города, как в географическом, так и в культурном смысле. Они живут среди других людей, говорящих на русском языке, называющих улицы русскими именами, считающих этот город русским.

На каком же языке говорили туземцы? Вопрос может показаться странным, ведь азербайджанский язык свою языковую группу с тех пор не изменил. Но вопрос наш относится к тому, как само местное население идентифицировало себя по языку. Симптоматичным в этом смысле является замечание профессора Казанского университета Эйхвальда, посетившего Баку в середине 20-х годов XIX века, о том, что в Диване, т. е. в суде, "все дела производятся на здешнем персидском, или точнее, турецком наречии" (курсив мой. - Р. Б.). Не будем обвинять профессора, как и ранее царских чиновников. Наверно, и он у кого-то спрашивал, пытался что-то разузнать и, в конце концов, был вынужден вводить собственную классификацию.

Период, когда азербайджанцев стало 36-38 процентов (приблизительно с последней четверти XIX до 28 апреля 1920 года, даты завоевания Азербайджана Красной Армией), когда они стали жить в окружении русского языка и многие из них стали русскоговорящими, на мой взгляд, самый важный в истории Азербайджана (не только новейшей).

Не следует всё сводить к прямой детерминации, дело не только в проценте и в чужом окружении, за ними спрятаны более глубокие закономерности, которые сегодня трудно выявить. Но этот период и эти люди (разумеется, их было куда меньше, чем 36-38 процентов) стали и остаются началом начал нашего самосознания. Они, на мой взгляд, и есть наш Азербайджанский Ренессанс, наше "всё", если воспользоваться метафорой русских о Пушкине. Это "всё" не отвергает всё остальное, как у русских Пушкин не отвергает, скажем, русскую икону.

Под "всем" я понимаю, прежде всего, то, что именно в диалоге с этим периодом нашей истории возможно освобождение от ложных националистических мифов, возможно найти должную меру "своего" и "чужого" в развитии азербайджанской культуры. Мы ещё не смогли по-настоящему "разговорить" эту эпоху, хотя постоянный к ней инте-

рес позволяет говорить об интуитивном понимании её значения.

И одним из самых сложных вопросов, связанных с этой эпохой, является вопрос о роли России и русского языка в этих процессах.

Можно улыбнуться мнению бакинского губернатора Колюбякина, который противился принятию нового "Городского положения" (1870), поскольку "обеспечение народного продовольствия, охрана народного здравия, устройство кредитных учреждений, благотворительных заведений и больниц, а также театров, библиотек и пр., не только неизвестны туземцам в том развитии, которого они достигли во внутренних губерниях России, но во многих отношениях диаметрально расходятся с понятиями их". Колюбякины остаются колюбякиными (остаются до сих пор), хотя какое требуется мужество, чтобы согласиться с мнением губернатора Колюбякина в тех случаях, когда он прав.

Но, соглашаясь или не соглашаясь с колюбякиными, невозможно отделить то, что произошло в Баку в конце XIX - начале XX века, от того, что происходило в России, начиная с 1860 года XIX века до русской революции 1905 года и после неё.

Именно в Российской империи, на определённом витке ее исторического развития, жёсткий монистический принцип политического устройства сменяется идеей "государства национальностей", "национального самоопределения" (о разрыве между идеей и исторической реальностью, и не только того времени, говорить излишне), что заставило азербайджанского культурного деятеля и просветителя Джейхунбека Гаджибейли даже воскликнуть в те годы: "Нет больше позорной клички инородец! А есть только общий почётный титул: гражданин". В этих условиях растет самосознание мусульман России, происходят поиски ими своего места в политической системе страны.

Возникают идеи автономии Кавказа. В этот же период либеральная азербайджанская интеллигенция открыто заявляет "о тех ограничениях, которые терпят мусульмане края в общественной и хозяйственной жизни, об увеличении числа гласных в городском самоуправлении, разрешении заниматься педагогической деятельностью, приеме в высшие учебные заведения".

"Внутри" всех этих процессов не мог не возникнуть вопрос об идентичности, но теперь он нужен был не только для определения "податного населения".

Поиски идентичности как своей "особости" в мировой культуре и мировой истории должны были упорядочить и конституировать этническое, включая регионально-этническое, многообразие и, одновременно, конституировать национальную историю (история, тем более, национальная история, не "отыскивается" в источниках, а разворачивается от выбранной идентичности и в этом смысле конструируется на основе источников). Поиски идентичности должны были упорядочить острые культурные и политические дискуссии тех лет, найдя для них общий знаменатель.

Наконец, поиски идентичности должны были в будущем независимом Азербайджане помочь в определении этнонима, лингвонима, политонима, а в случае разночтений - корректировки топонима. Следует осознать, что это не просто поиски удобного в обращении термина, не просто поиски соответствующего музейного ярлыка (хотя и это непростое дело), а сложное вычисление параллелограмма мнений общественного сознания. Поэтому справедливо называть их эндоэтноним,

эндолингвоним и т. д., подчеркивая, что речь идёт о самоназвании.
Поиски эти, начавшись из преодоления "туземности", продолжались по линии выделения сначала из общемусульманского, а впоследствии и из общетюркского ареала. Вновь подчеркнём, что задача эта была непростой из-за того, что в сознании рядовых азербайджанцев долгое время подобной проблемы не существовало.

Они считали себя мусульманами в стране, в которой правили христиане. Поэтому даже национальные просветители, в частности Зардаби, до конца испивший чашу "первого" (первая школа, первая газета - всегда брешь в жёсткой броне сознания), воспринимались как чужие, наподобие государственного чиновника, и в этом смысле как опасные русификаторы. Назвать себя не мусульманином, а другим непривычным словом, означало бы для них переступить в чужой, враждебный и опасный мир.

Несомненно, поиски идентичности включали в себя и поиски самоназвания для родного языка, понимание глубокой взаимосвязи существования нации и языка. При этом именно родной язык, как язык тюркской группы, должен был способствовать выделению из общемусульманской - и уже шиитской - идентификации. Симптоматично, что процесс формирования национального самосознания и, соответственно, формирование национальных партий начинался не в Баку, а в Гяндже, в городе по преимуществу азербайджанском на всём протяжении истории рассматриваемого периода, а затем перекинулся в Баку.

Можно ли сказать, что процесс поисков идентичности завершился до прихода Красной Армии? Вряд ли, тогда он только начинался. "Туземцам" ещё предстояло перестать быть туземцами, т. е. не только самоопределиться, не только так или иначе назвать себя, но и постоянно жить через самоопределение и самоназвание.

В этом историческом контексте и возникло программное провозглашение единства трех принципов: тюркизм, ислам и модернизм (европеизм), которое должно было закрепить этноним. Конечно, это была скорее декларация, а реальная жизнь представляла собой иную картину. Достаточно вспомнить трагедию "Книга моей матери" великого Джалила Мамедкулизаде: три сына одной матери получили образование в России, Турции, Иране (сегодня в этот ряд можно было добавить и Запад), а возвратившись домой, обнаружили, что, хотя они говорят на "родном языке", сам этот "родной язык" и их взгляды настолько изменились, что они не понимают друг друга. Джалил Мамедкулизаде, на мой взгляд, остаётся вершиной нашего самосознания,

поскольку не испугался заглянуть в самые мрачные бездны национального духа, не побоялся наделить нас самыми едко-саркастичными метафорами ("Мертвецы" и "Сборище сумасшедших"). "Книга матери", кроме всего прочего, свидетельствовала о том, что нити "тюркизма, исламизма, европеизма" (плюс "иранизма" или "шиизма") так и не сплелись в прочный канат.

И можно только предполагать, как развивался бы этот процесс, какому этнониму в конце концов было бы отдано предпочтение (не исключено, что это был бы тот же этноним "азербайджанцы"), если бы не приход Красной Армии. Речь в данном случае идет не о смене политической ориентации, не о том, что независимость сменилась новым имперским подчинением, а о том, что был приостановлен естественный процесс, было прервано его логическое течение. И это не могло не сказаться на процессах "модернизации" и соответственно урбанизации.
Названия (не только этнонимы) возникают самым невероятным способом. Поэтому придираться к ним, считать их "правильными" или "неправильными" бессмысленно. Вопрос в том, что означает этноним как эндоэтноним. Именно в этом контексте можно говорить о негативном воздействии этнонима "азербайджанцы", принятого в советское время.

В азербайджанском советском варианте этот "эндоэтноним" призван был не просто завершить выделение азербайджанцев из общемусульманского и общетюркского культурного ареала, а завершить полную, абсолютную изоляцию от них.

Подобная "идентичность" должна была подкрепляться пролеткультовским выпрямлением различных культурных "кривых", а завершаться соответствующей "Историей", включающей борьбу с исламскими завоевателями и практически исключающей тюркскую составляющую (достаточно сказать, что "антинародной" была признана эпическая "Книга Деде Коркута" - первоначало азербайджанской литературы, а возможно, и азербайджанской культуры). Если к этому добавить, что на протяжении короткого исторического отрезка дважды менялся алфавит, то картина станет более полной. И конечно, после этих "исторических" операций уже легко было механически идентифицировать этноним, лингвоним, политоним и топоним, выхолостив их реальное содержание.

Порой приходится встречаться с мнением, что как раз, с точки зрения определения идентичности и внутренней консолидации нации, азербайджанцы, как и некоторые другие народы Советского Союза, были созданы в советское время. Отмахнуться от этих взглядов невоз-

можно, во-первых, потому, что не следует в очередной раз прибегать к “ножницам” в отношении к собственной истории, вырезая то, что сегодня представляется чужеродным. Невозможно, во-вторых, ещё и потому, что новый “эндоэтноним” стал реальностью для нескольких поколений азербайджанцев, сложился тип сознания “азербайджанца”. Но вместе с тем политические и культурные события в постсоветский период позволяют говорить о том, что практически был сконструирован “химерный этнос”, по аналогии с “советским народом”, жизнеспособность которого не выдержала испытания временем.

Важным этапом в осознании подлинной азербайджанской этничности могли стать процессы, которые происходили в Южном (Иранском) Азербайджане сразу после окончания второй мировой войны и могли привести к воссоединению “разделённого народа”. К сожалению, вопросы “Большой геополитики” отодвинули вопросы “разделённого народа” в неопределённое будущее.

Попытка поменять этноним и лингвоним на “тюркский” была сделана во время правления Народного Фронта, но новые власти вернулись к привычным названиям. Вновь подчеркнём: бессмысленно спорить, кто из них был прав. Как ни парадоксально, возможно, оба были неправы, считая, что есть некая “объективность” подхода, вне нашего сознания, вне живых процессов, происходящих в сознании людей. Шумная декларативность в одном случае сменилась видимым наукообразием в другом, но глубина проблемы так и не была выявлена. Для будущих историков неоспоримым фактом останется только та легковесность, с которой “азербайджанцы” меняли в этом веке алфавит и самоназвания.

Результатом всех этих форсированных решений и стала та расколотость нации, которую мы обнаруживаем на рубеже веков. Проявляется она и в регионализме, который вдруг прорвался в урбанистическом “космополитическом” Баку. И в рецидивах тюркского радикализма как ответной реакции на попытки полного изъятия “тюркского”. И в инфантильных попытках соорудить прошлую историческую культуру из компонентов различной ценностной ориентации, не задумываясь над тем, как они внутренне соотносятся. И в попытках некоторых бакинцев обозначить себя как “новую нацию”, сохраняющую подлинно городской образ жизни, хотя в данном случае просто судорожно оберегается некий внешний набор признаков “стиля жизни”. И в степени сохранения в Баку русского языка, который в имперские годы был неким “знаком” городской элиты, стремящейся отгородиться от новых “туземцев”. Даже сузив на волне патриотической эйфории сферы своего влияния в первые годы независимости (начало 90-х годов), русский язык в Баку вновь стал реанимироваться (просвещение, масс-медиа, язык многих новых фирм и корпораций), возвращая свои прежние зоны влияния, что не должно радовать хотя бы потому, что в новых исторических реалиях это ведет к формированию новой городской субкультуры с местечковым “русским языком”. Трудно ожидать, что человек, зажатый внутри этих процессов, окажется в состоянии поддерживать динамичную, многофункциональную городскую деятельность.

Несколько подробнее остановимся на Баку 60-70-х годов, поскольку, во-первых, существующее и сегодня противопоставление подлинного “города”, каким был тогда Баку, “селу”, каким он стал сегодня, явно или скрыто содержит ностальгию по тем годам, по “тому городу”,

о котором продолжают говорить с искренним восторгом и некоторые из тех, кто ещё в нём живёт, и некоторые из уже разъехавшихся в разные уголки земного шара. И, во-вторых, именно в те годы возникло представление о "бакинцах" как особой "нации" и, следовательно, отличающихся не только от тех, кто "не азербайджанцы", но и от самих "азербайджанцев", которые "не городские" жители.

Чётко определить "бакинцев" очень трудно, если вообще возможно. Любой фактор - язык, этническая принадлежность, социальное положение, даже то, в каком колене стал бакинцем, - в данном случае оказывается размытым и не конститутивным (по определению "размытое множество"). Возможно, самое существенное - это чётко выраженный хронотоп, в котором сходятся конкретное городское "географическое" пространство и конкретное историческое время.

В те годы в Баку появился какой-то особенный, художественно-изысканный стиль жизни – и в городском убранстве, и в одежде, и в формах раскрепощённой публичной жизни непосредственно на улицах города, и в иронично-доверительном стиле общения, и во многом другом (включая свой бакинский джаз и бакинских джазменов), который и стал основой бакинского мифа о "неповторимости" этого города и "неповторимости" "коренных" (?!) бакинцев.

Трудно сказать, какие причины породили этот "бакинский" стиль жизни. Конечно, сказалась советская оттепель, "неофитское" открытие мировой культуры, включая хемингуэевски-ремарковский жест в стиле поведения молодых. Можно обнаружить и другие, специфически "бакинские," причины: смешение культур на протяжении короткого исторического времени, обусловившее острую восприимчивость бакинцев к различным культурам, мобильность и динамичность бакинского образа жизни, способствующего быстрой адаптации к новым условиям жизни, сугубо бакинская атмосфера дружелюбности, когда все всех знают и все вращаются на небольшом городском пятачке, и многое другое, что не всегда поддается фиксации. Но вместе с тем аура этого времени была в Баку космополитической и русскоязычной, хотя открытость к мировой культуре, как и во всем Союзе, стимулировала поиски, как говорили в те годы, "корней" и попытки нового прочтения национальной культуры. Космополитизм и слабая органическая связь собственно с национальной историей и с национальной культурой сказались в судьбах этого поколения, или, по крайней мере, в судьбах тех, кто пытался себя идентифицировать как "бакинец".

Многие просто уехали, унося с собой образ города, аналога которому, по их словам, они так нигде и не нашли. Другие со временем

стали чем-то вроде "состарившихся подростков", замкнувшись в своем прошлом и абсолютно дистанцируясь от настоящего и от какого-либо движения времени. Немало оказалось и тех, кто не принял народно-освободительное движение, с его лидерами и его электоратом, просто потому, что для них это была другая, не "бакинская" эстетика жизни. Как это ни парадоксально, если одни из них остались политически индифферентными, другие "бакинцы" легко вписались в подобие реанимированной "советской системы", с жёсткой вертикалью власти, с "отеческой" заботой сильного лидера и славословиями в его адрес, правительственными концертами и прочей советской атрибутикой. Наверное, не следует отбрасывать и тех, кто и в те годы, и позже не до конца вписывался в "бакинцев" и мог оказаться или в рядах Народного Фронта, или в рядах русскоязычных исламистов-неофитов, или просто среди тех, для кого важными остаются вопросы самоиндентификации по культуре, языку, этнической принадлежности.

Мало кто, однако, обращает внимание на то, что почти одновременно с этим "художественным оазисом", "бакинской аурой" и пр., в Баку начался массовый приток мигрантов, хаотичное строительство бакинского "бидонвиля", получившего такие названия, как "нахалстрой", "хутор", и трудные попытки этих новых мигрантов выжить в этом "неповторимом" городе (аналогичная ситуация возникнет с мигрантами конца 80-х - начала 90-х годов).

Два этих "города", два этих "времени", две культуры, две метафизики жизни не только не пересеклись, но и противопоставили себя друг другу, маркируясь как противопоставление "городского", "просвещённого" - "сельскому", "нецивилизованному". Тем самым, как выяснилось со временем, начался новый виток разбалансировки городских урбанистических функций, а с другой стороны, начался новый этап поисков идентичности, итоги которого трудно предугадать, но который, вполне возможно, будет идти в направлении вытеснения любых маргинальных, мутационных явлений. Только тогда выяснится, найдется ли место в новом Азербайджане "бакинской культуре", не говоря уже о "бакинском космополитизме", или национальная культура произведет новую инвентаризацию по демаркации "свое" – "чужое".

Подведем итоги

Баку 200 лет тому назад - это центр Бакинского ханства, живущий в стороне от столбовых дорог мировой цивилизации и мировой геополитики, "не ведавший, что творится на белом свете".

Баку конца XX века - это столица независимой страны, со всеми атрибутами государственности, большая городская агломерация, коммуникативно и информационно вписанная в Большой мир.

А между ними - промышленный, нефтяной бум, национальный Ренессанс, обусловивший рост культуры и рост национального самосознания, приход Красной Армии, советский период развития Баку и Азербайджана, годы независимости и новые поиски национальной и культурной идентичности.

Что же мы наблюдаем сегодня?

Неуправляемые поселения, спутники почти всех больших городских агломераций, так и норовят прорваться к центру Баку и навязать свою эстетику жизни, эстетику "временщиков".

Казалось бы, окончательно найденная идентичность (этноним, лингвоним) вдруг на глазах начала раскалываться на региональные составляющие и по демаркации "тюрки" – "не тюрки".
Демократическая риторика становится способом замаскировать трайбалистски-клановую организацию социальной жизни. Вновь стала расширяться зона русского языка, но во многом теперь лексически и интонационно местечкового.

В Баку постоянно рассуждают о национальной идее и национальной идеологии, призванных объединить всех азербайджанцев, и не только живущих в Азербайджане, магия больших цифр (древность истории и количество населения) завораживает сознание. Но при этом жители столицы всё меньше осознают свою ответственность перед "другими" азербайджанцами, не говоря уже об ответственности за свою неспособность к действию.

По данным переписи 1997 года более 60 процентов населения Азербайджана живёт в городах, по данным той же переписи население Баку составляет более 40 процентов населения Азербайджана (в реальности ещё больше). Азербайджанцы, можно сказать, перестали быть сельской нацией, но кто поручится, что мы не превращаемся в нацию "вечных мигрантов в поселковых городах".

Остаётся только гадать, какими окажутся взаимоотношения Баку и Азербайджана в будущем.

В будущем близком и будущем далеком.

Вместо заключения

Пространство последних 200 лет в истории Баку и Азербайджана должно реконструироваться вновь и вновь, чтобы самим процессом реконструкции обеспечивать оптимальный вектор развития страны.
Таков этот период, в котором трудно развести поражения и победы, обретения и потери.

Такова современная методология, ратующая за множественность подходов, при которых даже взаимоисключающие позиции могут оказаться взаимодополнительными и в этом смысле одинаково верными.

Поэтому не исключено, что урбанизм и поиски идентичности, о которых говорится в настоящей статье, могут быть осмыслены в другом, более оптимистичном контексте.
А метафору "кризис" в этом случае может заменить метафора "созидательные перемены"…

В статье использованы фотографии

Ширмамеда Назарли

Родился в 1948 году. Автор 8 книг, в которых собраны его повести, рассказы и сценарии. Его пьесы ставились в бакинских театрах. Учредитель и главный редактор международного журнала «IRS» («Наследие»). Лауреат премии «Хумай». В последние два года провел три персональные фотовыставки.
Редактор ИА "SalamNews".
Живет в Баку.

Наира Гелашвили

Писатель, поэт, прозаик, публицист, общественный деятель, обладатель нескольких литературных премий. Основатель и директор Центра культурных взаимосвязей «Кавказский дом», ведущего широкую культурно-просветительскую деятельность.
Живёт в Тбилиси.

Реквием «городу в балконах»

Наша столица погибает у всех на глазах, но никто не подаёт по этому поводу голоса.

Да, то, что сегодня строительные фирмы, власти и всё наше снобистское общество в один голос называют возрождением, это гибель.

Сумасшедшими темпами, бесконтрольно и бессмысленно строятся гигантские корпуса, которые перекрывают пространство, перекрывают доступ воздуха, солнца, возможность наслаждаться видами горизонта.

Создаётся впечатление, что в Грузии архитектуры как науки не существовало и в помине. Поскольку изначально основой основ архитектуры являлось приведение творений человеческих и творений божьих, то есть зданий и природы, к гармонии, к их слиянию в одно органическое целое, а не повреждение и уродование чем-то созданным человеком важнейшего из богатств - природы.

В советские времена безликость и негодность строений мы объясняли коммунистической бестолковостью. А что происходит сейчас? Неужели народ, считающий высокий артистизм и поэзию своими отличительными чертами, не может проявить больше вкуса и фантазии?!

Хотя бы только это: сегодняшняя архитектура полностью перечеркнула балконы, которые создавали воздушную красоту старого Тбилиси. Любовь к балконам выражала основную черту грузинского характера: открытость по отношению к вселенной. Балкон является переходной зоной между закрытостью дома и безграничностью пространства. Это полуоткрытое место, которое необходимо человеку, находящемуся в доме, чтобы он не слишком резко отмежевался от пространства глухими стенами, чтобы, находясь дома, он мог почувствовать ветер и солнце, дождь и звёзды. Чтобы одновременно находиться и дома, и вне. Балкон – это место облегчения души во время депрессии, когда человека душит грусть и теснота, особенно, если ему трудно вообще выходить из дому.

Характер человека выбирает тот ли иной стиль, впоследствии же этот стиль сам формирует характер. Исходя из этого, можно заключить, что сегодняшние грузины в сравнении с предыдущими очерствели и ещё более очерствеют. Хотя в стихотворении говорится лучше:

К этим домам кружевами пришиты балконы,
Лёгкой резьбой поражает их чудо-убранство.
Не глухие, как машинные салоны,
Недоступные туманам и пространству.

Как же пелось открыто балконами!!!
Не как нынче, - к природе спиной,
Заглушая бетонными стонами,
Всё друг в друге печальной стеной.
Почему же их стали (беда!),
Проглотив, хоронить города…

А как прекрасно было бы, если бы Тбилиси сохранил внешность и ранг «Города в балконах»!

Но оставим в покое балконы, их орнаменты и красоту!

Как мы собираемся жить и растить детей в этой газовой камере, которую сегодня представляет собой Тбилиси?!

Экологическое загрязнение города превосходит все пределы. Море старых, технически неисправных машин, их давка и пробки почти с утра до вечера, бесконечные выхлопные газы ужасно низкокачественного бензина, в 500 раз превосходящее допустимый уровень электромагнитное поле!

И всё это принимает роковой характер (тревожно возрастает количество онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний), потому что город окружён горами, и его естественное проветривание само по себе проблематично.

Именно поэтому необходимо уделять особое внимание строительству в городе Тбилиси, чтобы таким количеством многоэтажных зданий не насиловать оставшееся жизненное пространство. Разумные люди в Тбилиси и, тем более, в его центре не стали бы строить здания выше двух-трех этажей. Как настоящие монстры, возвышались в своё время здания «ЦК», «Цекавшири». Теперь же стиль и качество раннего советского строительства стали пределом мечтаний. Если ранее очень близко возвышающиеся горы, так или иначе, наблюдались из любой точки города, то в скором будущем эта ландшафтная особенность Тбилиси уже ниоткуда не порадует глаз.

Вот, например, Площадь Свободы. Не такой уж большой площади прежний фонтан придавал лёгкость, воздушность и поэтичность. А сейчас сердце города заглушено грубым, тяжёлым, поставленным на излишне высокую опору, кошмарно пылающим, каким-то непонятным идолом. Такое же излишне высокое, глухое здание гостиницы «Marriott» заполнило пространство и закрыло ранее открывающийся с площади вид на фуникулер. К этому добавляется поставленная прямо над городом, на гребне Ботанического сада «махина» из стекла и металла, которая совершенно разрушила особенность и красоту ландшафта. Как и соответствует отсталой, по сути, провинциальной стране, в Грузии думают, что человеческие творения, даже безобразные, но дорогостоящие, превосходят творения Божьи, то есть здесь чувствительность к природе, понимание её значимости, молниеносно докатилось до нуля.

Пройдитесь по проспекту Чавчавадзе, скоро уже неоткуда будет увидеть горы.

И в таком городе, где каждый сквер, парк, дерево действительно ценится на вес золота, были вырублены целые участки некогда

прекрасного парка Ваке и стадиона «Локомотив», уничтожено сотни огромных елей, сосен, чтоб построить там посольство Украины и ещё что-то тому подобное! А какой гигантский жилой дом взгромоздили прямо на территории парка, в начале дороги к Черепашьему озеру! И никто не спрашивает, какой мэр допустил это, кто продал народную собственность, какая самолюбивая, цивилизованная страна вырубает парки, чтоб поставить там дома для иностранцев или местных?!

Вот таков этот город, наш город.
Провалившийся в горный котёл
Стон приглушенный. Жажда и голод
Здесь по свежим ветрам. Произвол
Нарочито безликих строений,
Перекрывших воздушный поток,
О которые птицей в смятенье
Бьётся взор – жизнь взята под замок.
.
Теснота и внутри, и снаружи,
О, как искренне, искренне жаль,
Что здесь скоро никто не заслужит
Даже помнить далёкую даль.

Оставим и это. Неужели охваченные жаждой обогащения строительные компании, или представители власти, или уснувшие учёные, или экологические организации абсолютно не помнят, что Грузия расположена в зоне активного землетрясения? В таких странах вообще и, тем более, в такой неподготовленной, как наша, такое количество многоэтажных зданий, концентрация стольких людей в одном месте – настоящее сумасшествие, и больше ничего. Руководство же города обещает нам строительство небоскрёбов и заранее наслаждается этой великой находкой. Так же как сонм правителей города наслаждается бессмысленным расширением столицы: присоединением к ней окружающих деревень и приусадебных участков, что, с одной стороны, означает уничтожение деревень, а с другой, ещё большую загруженность и непомерный рост Тбилиси.

Да, в первую очередь, именно мэр города, а затем и всё руководство должны понести ответственность за ещё одно преступление, которое носит явно антинародный и анти-грузинский характер. Это упразднение базаров по всему Тбилиси.

Закрыли «Колхозный», «Дезертирский», Сабурталинский рынки, и перерезали вены жизни города, стёрли его облик, уничтожили его традиции, граждан лишили возможности приобретать свежие продукты дешевле по сравнению с супермаркетами. Полностью уничтожены связанные с базарами привычки, обычаи. Это насилие над городскими традициями.

Базар – это место живого человеческого общения, место встречи города и села, именно то место, куда с наибольшим интересом спешат идолы нашей власти – иностранцы, причём, не только простые туристы, а и знатные посетители нашего города, которым супермаркеты уже стоят поперёк горла. Эти базары надо было привести в порядок, почистить, обустроить и украсить, а не разрушать. Но что сможет препятствовать рабскому духу подражания и финансовым интересам сильных мира сего! Результатом уничтожения базаров успешно завершилась борьба импортёров продуктов (в основном, экологически негодных) с продукцией грузинских деревень, и, соответственно, против всего сельского хозяйства.

Показателем воинственной тупости стало закрытие рынка «Сухой мост». Рынок антикварных предметов и всевозможных старинных безделушек во всех европейских городах придаёт им колоритность и художественный характер, создаёт их психологический, эстетический портрет. Но если ты полностью лишён способности художественного восприятия мира, то не поймёшь этого. Недавно один юрист говорил

мне: «Когда же разрушат этот старый Тбилиси и построят новые корпуса?» Таким людям не объяснить, почему до сердца пронимают маленькие улочки и переулки, старинные балконы и веранды, излучающие какой-то уют и свои истории.

Отреставрированные или имитационно выстроенные коммунистами островки балконов оставались красивейшими местами в нашей столице, пока нынешние власти не выкрасили их в такие цвета и не осветили так, что они напоминают филиалы сумасшедших домов.

Добавьте ко всему этому навязывание городу искусственных цветов. Эти уже знатно запылённые одинаковые венки на Авлабаре или на аэропортовской трассе, присуждённые балконам, создают панихидные настроения и образно указывают на внутренне мёртвую, душевно опустошённую реальность.

Украсить безликие здания лучше всего можно было бы, посадив на балконах (в больших горшках) и у оснований зданий виноградные лозы, плющ, кусты роз. «Одесса», вспомните, быстро растёт, с нею розы и вьющиеся растения лучше прикроют невзрачные стены. Хорошо продуманное и ухоженное сплетение роз, винограда и плюща украсит любое здание. Не думаю, что такой проект озеленения обошёлся бы дороже искусственных цветов, но ведь тогда импортёр пластмассовых растений ничего не заработает!

Конечно, в столице появились и какие-то красивые новшества. Из них самое красивое – эластичные, артистичные, лёгкие фигуры металлических женщин над водой, установленные на мосту через Куру. Красив скверик перед мэрией, сквер Пушкина. Действительно хороши детские игровые площадки. Я считаю полностью оправданной разборку нагромождения гаражей в этих целях. Замечателен и очарователен новый фонтан « Музыканты» над парком Ваке. Вообще фонтаны помимо эстетичности на фоне глобального потепления всё чаще приобретают жизненно необходимое значение, так как мы можем оказаться перед опасностью страшного зноя. А фонтаны очищают и освежают воздух. Но в условиях массового обнищания фонтаны воспринимаются как избыточная роскошь и раздражают население. Я думаю, фонтаны должны строиться, в первую очередь, в таких местах и такими, чтоб в них могли барахтаться и освежаться дети. Ведь очень многим столичным детишкам некуда выехать летом.

Но все эти улучшения всё-таки несут фрагментарный характер. Абсолютно ясно, что не существует плана развития ни столицы, ни страны. Не существует основанного на знаниях честного труда. Хотя бы один пример: на проспекте Руставели газоны поместили в низкие каменные стены, что является единственно правильным решением, поскольку у наших диких сограждан есть привычка их усердно вытаптывать. Но когда окружённое стенами пространство заполняли землёй, его предварительно не очистили, а наоборот, набросали сверху огромное количество камней, полиэтиленовых пакетов. Это такое неуважение по отношению к земле!

Это такой неправедный труд и такое невежество, язык не поворачивается сказать! Земледелец такое никогда не сделает. Ведь в земле целлофан практически не разлагается, - что будет с кустами и цветами, которые здесь посадят?

Сегодня истинное развитие невозможно без мысли о том, что всё: экономика, промышленность, строительство и т. д. должны подчиняться экологии, восстановлению и сохранению жизненного пространства. Это единственная гарантия будущего. Всё, что против этого – дорога к болезни и смерти.

И если наша жизнь будет продолжаться в том же духе, через несколько лет в нашем городе не останется ничего из того, что мы любили. Тбилиси станет безликим, невзрачным, больным, невыносимым, заполненным смогом городом супермаркетов, казино, тотализаторов и бензоколонок. И от нас самих тоже не останется ничего.

Я страшно тоскую по небу в окне
А моё окно тоскует по простору,
Облакам…
Хоть бы выпало, Господи, мне,
Как в прекрасную, давнюю пору
В старом доме грузинском, припавшем к скале,
Там, где Ты переполнишь мне душу,
Поселиться ненадолго…
Взмыть на крыле
Тихой песни…
Увидеть, послушать…
Чтобы с лёгкостью всё, с добротой, с настроеньем…
Но, увы, день за днём я живу в окруженье
Корпусов
из металла,
бетона,
стекла…
Я сражаюсь в войне,
одинок и отвержен,
не сдаваясь под гнёт,
Нескончаемой армии серого зла
Уже очень давно…
Но буду повержен…

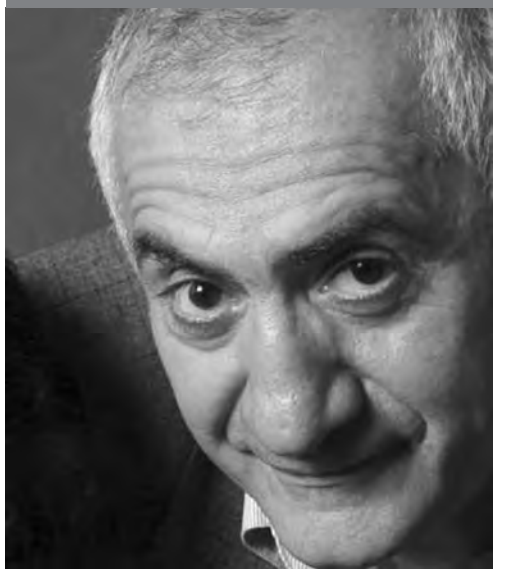
Может быть, через год…
Может быть, через год…

Перевод с грузинского Николоза Джинчарадзе

Сергей Параджанов

В статье использованы фотографии

Юрия Мечитова



Родился в 1950 году.
Первая персональная выставка прошла в 1979 году в Тбилиси.
Учителя: художник Марк Поляков, режиссеры Сергей Параджанов и Владимир Пичхадзе.
20 персональных и участие в 50 групповых выставках в Грузии и за ее пределами.
Автор книги-фотоальбома «Сергей Параджанов. Хроника диалога».

Живет в Тбилиси.